



Ирландская литература
IRISH LITERATURE IN RUSSIAN TRANSLATION

Litríocht na hÉireann aistrithe go Rúisis

Issue 1

Ирландская литература
IRISH LITERATURE IN RUSSIAN TRANSLATION

Litríocht na hÉireann aistrithe go Rúisis

Issue 1, Spring 2012

Ирландская литература / Irish Literature in Russian Translation / Litríocht na hÉireann aistrithe go Rúisis is an independent, non-profit journal which is a collaborative initiative between the School of Languages, Literatures and Cultural Studies, Trinity College Dublin and the Gorky Literary Institute, Moscow, with support from Ireland Literature Exchange. The journal is published every two years both online and in print and aims to showcase the best of contemporary Irish writing, present the work of literary translators working from English or Irish into Russian, and introduce a Russian-speaking readership to some classics of Irish literature.

«Ирландская литература» – независимый некоммерческий журнал, выпускаемый Отделением языковедения, литературоведения и культурологии Дублинского Тринити-колледжа и Московским литературным институтом им. А.М. Горького при поддержке Ирландской литературной биржи. Журнал выходит раз в два года в печатной и сетевой версиях и представляет русскоязычным читателям лучшие образцы современной и классической ирландской литературы, а также их переводы с английского и ирландского языков на русский.

Editor-in-chief / Главный редактор:

John Murray

Russian advising editors / Редакторы русских переводов:

Vladimir Babkov

Victor Golyshev

Production manager / Заведующий производством:

Siobhán McNamara

Advisory panel / Консультативный совет:

Jane Alger

Peter Arnds

Gerald Dawe

Paul Delaney

Hugo Hamilton

Sinéad Mac Aodha

Siobhán McNamara

Eiléan Ní Chuilleanáin

Nell Regan

Irish language advisor / Консультант по ирландскому языку:

Victor Bayda

Design / Оформление:

Language

28 Great Strand Street

Dublin 1

Ireland

www.language.ie

www.irlandskayaliteratura.org

ISBN 978-1-871-40882-9

ISSN (Print) 2009-4477

ISSN (Online) 2009-4485



Ireland Literature Exchange
Idirmháltán Litríocht Éireann

Ирландская литература
Irish literature in Russian translation
Litríocht na hÉireann aistrithe go Rúisis

JOHN MURRAY, *Editor-in-chief*

CONTENTS

INTRODUCTION	<i>Robert Tracy</i>	06
PROSE		
The Gathering (extract)	<i>Anne Enright</i>	18
The Speckled People (extract)	<i>Hugo Hamilton</i>	30
Let the Great World Spin (extract)	<i>Colum McCann</i>	38
The Parting Gift	<i>Claire Keegan</i>	46
Atlantic City	<i>Kevin Barry</i>	60
CHILDREN'S LITERATURE		
Snakes' Elbows (extract)	<i>Deirdre Madden</i>	76
HISTORICAL		
Dracula (extract)	<i>Bram Stoker</i>	84
The Great Hunger (extract)	<i>Patrick Kavanagh</i>	104
MEMOIR		
The Fifties: A Memoir (extract)	<i>Thomas Kilroy</i>	110
POETRY		
Crossing the Sound	<i>Gerald Dawe</i>	118
Diarrhoea Attack at Party		
Headquarters in Leningrad	<i>Paul Durcan</i>	120
Water to Water, Salt to Salt	<i>Nell Regan</i>	122
Women at the Well	<i>Philip McDonagh</i>	124
The Burden of Cloth	<i>Eiléan Ní Chuilleanáin</i>	126
Enemies	<i>Pádraic Fiacc</i>	128
My Dear Friend	<i>Peter Sirr</i>	130
Leithscéal	<i>Aifric MacAodha</i>	132
Coinnle ar Lasadh	<i>Máirtín Ó Direáin</i>	134
Capall Bán	<i>Caitríona Ní Chléirchín</i>	136
DRAMA		
By the Bog of Cats	<i>Marina Carr</i>	138
AUTHORS' BRIEF BIOGRAPHIES		146
TRANSLATORS' BRIEF BIOGRAPHIES		154
ACKNOWLEDGEMENTS		156
SOME USEFUL WEBSITES		158

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	<i>Роберт Трейси (Перевод В. Бабкова)</i>	07
ПРОЗА		
В кругу семьи (фрагмент)	<i>Энн Энрайт (Перевод В. Пророковой)</i>	19
Пегие люди (фрагмент)	<i>Хьюго Хэмилтон (Перевод В. Голышева)</i>	31
Пусть вертится огромный мир (фрагмент)	<i>Колум Макканн (Перевод В. Бабкова)</i>	39
Прощальный подарок	<i>Клер Киган (Перевод Л. Мотылева)</i>	47
Атлантик-сити	<i>Кевин Барри (Перевод В. Бабкова)</i>	61
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА		
Ежкины уши	<i>Дийрдре Мадден (Перевод В. Голышева)</i>	77
КЛАССИКА		
Дракула (фрагмент)	<i>Брэм Стокер (Перевод В. Бабкова)</i>	85
Великий голод (фрагмент)	<i>Патрик Каванах (Перевод Ю. Гуголева)</i>	105
МЕМУАРЫ		
Записки о пятидесятих (фрагмент)	<i>Томас Килрой (Перевод Л. Мотылева)</i>	111
ПОЭЗИЯ		
Дорога на остров	<i>Джеральд До (Перевод А. Прокопьева)</i>	119
Приступ поноса во время заседания Ленинградского обкома	<i>Пол Деркан (Перевод А. Прокопьева)</i>	121
Соль к соли, вода к воде	<i>Нелл Риган (Перевод А. Прокопьева)</i>	123
Женщины у источника	<i>Филип Макдона (Перевод А. Прокопьева)</i>	125
Груда тканей	<i>Элейн Ни Хиллинан (Перевод А. Прокопьева)</i>	127
Враги	<i>Подрик Фиякк (Перевод А. Прокопьева)</i>	129
Милый друг	<i>Питер Серр (Перевод А. Прокопьева)</i>	131
Оправдание	<i>Афърик Макэй (Перевод А. Прокопьева)</i>	133
Свечи	<i>Мартинь О Дириянь (Перевод Ю. Гуголева)</i>	135
Белая кобыла	<i>Катриона Ни Хлерхин (Перевод А. Прокопьева)</i>	137
ДРАМАТУРГИЯ		
У кошкиной топи	<i>Марина Карр (Перевод В. Голышева)</i>	139
КРАТКИЕ БИОГРАФИИ АВТОРОВ		147
КРАТКИЕ БИОГРАФИИ ПЕРЕВОДЧИКОВ		155
БИБЛИОГРАФИЯ И АВТОРСКИЕ ПРАВА		157
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВЕБ-САЙТЫ		159

INTRODUCTION

Robert Tracy
Berkeley, California

“Is the Celtic spirit, like the Slavic one (which it resembles in many respects), destined in the future to enrich the consciousness of civilization?”

— James Joyce, “Ireland, Island of Saints and Sages” (1907)

Every serious writer, whether poet, novelist, or playwright, becomes part of the conversation that maintains the shared culture of Europe and the Americas. *Irish Literature in Russian Translation / Litriocht na hEireann aistrithe go Rúisis* exists to foster that conversation between two countries, to remind Russian readers of earlier literary encounters between Ireland and Russia, and to introduce a Russian audience to works that are central to the Irish literary tradition and to contemporary writing in Ireland’s two national languages: English and Irish.

Over the last two centuries there has been steady if intermittent intellectual and cultural traffic between these two countries, situated as they are at the western and eastern extremes of Europe. Perhaps the strangest encounter occurred in 1821, when the future Tsar Nicholas I, in Berlin to marry Princess Charlotte of Prussia, participated in a series of *tableaux vivants* depicting scenes from Thomas Moore’s *Lalla Rookh* (1817). Nicholas took the role of the poet-king Feramorz, the princess was Lalla Rookh, and the marriage of Moore’s Bucharian king and Indian princess became a convenient metaphor for the real dynastic marriage that Russian, Prussian, and British royals were assembled to celebrate. They were presumably unaware that in Mokanna, the “Veiled Prophet,” Moore had attacked the kind of tyrant Nicholas would become, and that in “The Fire-Worshippers” the poem portrayed the British as Moslems and the Catholic Irish as their persecuted victims in Ireland, here thinly disguised as “Iran”. Nor could they have foreseen Moore’s satiric “Dissolution of the Holy Alliance” (1823), in which Moore imagined how,

ПРЕДИСЛОВИЕ

*Роберт Трейси
Беркли, Калифорния*

Перевод В. Бабкова

«Суждено ли кельтскому духу, подобно славянскому (с коим он схож во многих отношениях), обогатить в будущем сознание цивилизованного человечества?»

— Джеймс Джойс, «Остров святых и мудрецов» (1907)

Каждый серьезный писатель, будь он поэтом, романистом или драматургом, вносит свой вклад в диалог, ведущийся в едином культурном пространстве Европы и обеих Америк. Журнал «Ирландская литература» задуман ради того, чтобы поддержать этот диалог между двумя странами, напомнить русской читающей публике о прежних литературных связях между Ирландией и Россией и познакомить ее с произведениями, наиболее ярко представляющими ирландскую литературную традицию и современное сочинительство на обоих государственных языках Ирландии – английском и ирландском.

На протяжении двух последних веков литературные контакты между этими странами, расположенными на западной и восточной границах Европы, не прекращались, хотя их и нельзя назвать достаточно регулярными. Возможно, самое любопытное событие такого рода произошло в 1821 году, когда будущий царь Николай I, приехавший в Берлин с женой, принцессой Прусской Шарлоттой, принял участие в постановке живых картин, представляющих сцены из поэмы Томаса Мура «Лалла Рук» (1817). Николай выступал в роли поэта и царя Фераморса, принцесса была Лаллой Рук, а свадьба бактрийского властелина и индийской принцессы, описанная Муром, стала удобной метафорой для реального династического брака, отпраздновать который собрались представители королевских семей – российской, прусской и британской. Они, очевидно, не заметили, что в лице зловещего пророка Моканны Мур осудил тиранов, одним из которых предстояло сделаться Николаю, а в «Огнепоклонниках» изображены британцы как мусульмане и ирландцы-католики как их жертвы в Ирландии, замаскированной прозрачным псевдонимом «Иран». Не могли они предвидеть и того, что в 1823 г. Мур напишет сатиру «Крах Священного Союза», нарисовав в ней

Upon the Neva's flood
A beautiful Ice Palace stood,
A dome of frost-work, on the plan
Of that once built by Empress Anne.

When the Russian Emperor hosts a ball in the ice palace for Europe's kings and emperors, the heated dancers' sweat melts the palace, drowning the assembled royalty.

Of the Irish writers who gained a Russian audience, Moore was undoubtedly the most popular, in his lifetime and long afterwards, so much so that in June 2011 a statue of him was dedicated in St. Petersburg. His *Irish Melodies* were well known in nineteenth-century Russian drawing-rooms, with "Those Evening Bells", as translated by Ivan Kozlov, a particular favourite, long believed to be a Russian folk-song. But Moore was hardly the first Irish writer to be recognized in Russia. Lomonosov knew and praised Swift's *Gulliver's Travels* as early as 1748. Goldsmith's *Vicar of Wakefield* (1766) appeared in Russian twenty years later, to provide a model for a school of sentimental novelists.

If Moore was the most popular Irish writer for Russians, Turgenev was the Russian most often evoked by Irish writers, including those who worked to restore Irish as both a spoken and a literary language. In 1900 Douglas Hyde, who demanded the "De-Anglicisation of Ireland" in 1892, and would become Ireland's first President in 1938, cited "the revelation of the Russian temperament" by Pushkin, Turgenev, Dostoevsky, and Tolstoy as "perhaps the chief event of nineteenth-century literature" and a model for a modern literature in Irish that would go beyond descriptions of peasant life. Pádraic Ó Conaire struggled against those who argued that writing in Irish should focus on peasant life and values and avoid any topic that might be morally objectionable. "Gogol and those who preceded him were not fearful or timid," he declared in 1908, "They vowed and they swore that they had found the truth, and Turgenev and many others came after them to prove that they were right — that the good and the noble existed within the filth and ugliness of that form which they had found." The most important novel written in Irish, Máirtín Ó Cadhain's *Cré na Cille* (*Churchyard Clay*, 1949), owes something to Lucian's *Dialogues of the Dead*, but more to Dostoevsky's "Bobok" (1873). Even Tomás Ó Criomhthain's classic description of peasant life on the isolated Blasket Islands, *An t-Oileánach* (*The Islandman*, 1929), is indebted to Gogol.

An anonymous obituary for Turgenev, written by someone who seems to have known him well, and published a few days after his death, describes him "as a youth" listening to his brother translate passages from Maria Edgeworth, and quotes him as suggesting that her stories "about the poor Irish of County Longford and the squires and squirees [squireens?]" lay behind his wish to write about Russian peasants, "the simple ones of the earth,"

Там, где Невы бежит поток,
Изваянный из льда чертог –
Как тот, где, на престол венчанна,
Жила императрица Анна.

Когда российский император устраивает в этом ледяном дворце бал для европейских коронованных особ, разгоряченные танцоры растапливают его своим потом и все вместе тонут в образовавшейся массе воды.

Из всех ирландских авторов, знакомых русской публике, Мур, безусловно, пользовался у нее наибольшей популярностью – не только при своей жизни, но и после смерти, вплоть до нынешних времен, так что в июне 2011 года в Санкт-Петербурге даже открыли памятник в его честь. Его «Ирландские мелодии» были хорошо известны в российских гостиных девятнадцатого века, причем особенную любовь снискало там стихотворение «Вечерний звон» в переводе Ивана Козлова, которое долго считали текстом русской народной песни. Но Мур был далеко не первым ирландским автором, добившимся известности в России. Ломоносов знал о свифтовских «Путешествиях Гулливера» и лестно отзывался о них еще в 1748 году, а двадцать лет спустя на русском появился «Векфильдский священник» (1766) Оливера Голдсмита, ставший образцом для романистов сентиментальной школы.

Если Мур был самым знаменитым ирландским сочинителем в России, то писатели-ирландцы – включая и тех, кто старался восстановить ирландский язык в качестве разговорного и литературного, – среди своих русских коллег чаще всего поминали Ивана Тургенева. В 1990 г. Дуглас Хайд, который в 1892-м потребовал «деангликанизации Ирландии» и которому суждено было в 1938-м стать первым президентом своей страны, назвал «изображение русского характера» в произведениях Пушкина, Тургенева, Достоевского и Толстого «возможно, самым главным событием в литературе девятнадцатого века» и образцом для современной ему литературы на ирландском, которой следовало выйти за пределы изображения крестьянской жизни. Патрик О Конаре боролся с теми, кто считал, что литература на ирландском должна ограничиваться описанием быта крестьян с их житейскими ценностями и избегать любых этически скользких тем. «Гоголь и его предшественники не боялись и не робели, – заявлял он в 1908 г. – Они клялись и божились, что нашли истину, а Тургенев и многие другие, пришедшие за ними следом, доказали их правоту – доказали, что в грязи и безобразии найденной ими формы кроются добро и благородство». В самом значительном из романов, написанных по-ирландски, «Кладбищенская земля» (Cré na Cille, 1949) Мартина О Кайна, заметно влияние «Разговоров в царстве мертвых» Лукиана, но еще большее – рассказа Достоевского «Бобок» (1873). Даже классическое описание крестьянской жизни на уединенных островах Бласкет в «Островитянине» (An t-Oileánach, 1929), романе Томаса О Крохана, многим обязано Гоголю.

В анонимном некрологе на смерть Тургенева, написанном якобы хорошо знавшим его человеком и опубликованном через несколько дней после кончины писателя, говорится, что в юности Иван Сергеевич слушал пассажи из романов Марии Эджворт в переводе своего брата, а позже признавался, что его желание изо-

in *A Sportsman's Sketches* (1852). We cannot be sure, but when the phrase “absenteeism” leaps out in the second chapter of *Smoke* (1867), and we read Turgenev’s satiric descriptions of the Russian gentry at Baden-Baden and of Litvinov’s determination to return home and attend to his estate, we are recognizably in Miss Edgeworth’s world. In a neat double act of literary homage, the protagonist of Belinda McKeon’s *Solace* (2011), a graduate student at Trinity College writing a thesis about Maria Edgeworth, is enmeshed in a relationship with his father. Their mutual incomprehension recalls Turgenev’s *Fathers and Sons*.

Seán Ó Faoláin named *The Bell* (1940-1954), his journal of literary, cultural, and political journal intended to wake up Ireland, after Alexander Herzen’s *Kolokol* (1857-67). One of his novels is titled *A Nest of Simple Folk* (1936) as a kind of homage to Turgenev’s *A Nest of Gentle Folk* (1859). Gnezdo, “nest,” can serve, like “house,” as a metaphor for a family, tightly woven together like a bird’s nest, as well as for their dwelling. From the first Irish novel, Edgeworth’s *Castle Rackrent; an Hibernian Tale, Taken from Facts, and from the Manners of the Irish Squires, before the Year 1782* (1800) to Anne Enright’s *The Gathering* (2009); from the seventeenth century “Lament for Kilcash” to memoirs like Elizabeth Bowen’s *Bowen’s Court* (1942), Hugo Hamilton’s *The Speckled People* (2003), and Yeats’s poems celebrating Lady Gregory’s house at Coole Park, the shared identity between a house and its inhabitants has been a feature of Irish literature, as it was for Turgenev and Chekhov, Dostoevsky and Tolstoy. Gogol’s landowners and the Karamazovs are defined by their houses; the abandonment of the Rostovs’ Moscow house and the loss of the Cherry Orchard are family tragedies. This identity between house and family may be a feature of a self-consciously national literature, one that must explain customs and certain habits of mind as well as tell its story — a lesson Walter Scott and Turgenev learned from Miss Edgeworth’s fictions.

This shared self-consciousness, stressing the Russian or Irish identities in a work, may explain why the Irish took to Chekhov’s stories and plays more quickly than the English or French did. Daniel Corkery, Frank O’Connor, and Seán Ó Faoláin learned to write about their own people by reading Chekhov. In London Bernard Shaw, and in Dublin Edward Martyn, who had founded the Abbey Theatre with Yeats and Lady Gregory, championed his plays. Martyn and Joseph Plunkett — who would sign the Proclamation of the Irish Republic, Ireland’s declaration of independence from British rule, and die before a British firing squad in 1916 — founded Dublin’s Irish Theatre in 1914 to present plays by Chekhov and other continental playwrights after Yeats insisted that only Irish plays be performed at the Abbey.

бразить русских крестьян в «Записках охотника» (1852) было навеяно ее рассказами «о бедных ирландцах и помещиках графства Лонгфорд». Мы не можем быть в этом уверены, но когда во второй главе «Дыма» (1867) проскакивает замечание о помещице «абсентеизме», когда мы читаем принадлежащие перу Тургенева сатирические описания русского дворянства в Баден-Бадене и слышим о решимости Литвинова вернуться домой и заняться своим имением, это весьма живо напоминает нам сочинения мисс Эджворт. Можно привести и еще один любопытный пример литературного переотражения: главный герой романа Белинды МакКьюн «Утешение» (Solace, 2011), аспирант Тринити-колледжа, пишет диссертацию о Марии Эджворт, а его отношения с отцом, полные взаимного непонимания, приводят на память тургеневских «Отцов и детей».

Шон О Фэлань назвал свой литературный и культурно-политический журнал *The Bell* (1940-54), призванный пробудить Ирландию, в честь герценовского «Колокола» (1857-67). Один из его романов носит название «Гнездо простых людей» (1936) – это дань уважения Тургеневу с его «Дворянским гнездом» (1859). Гнездо, как и дом, метафорически означает не только место жительства семьи, но и ее саму, ибо она, подобно птичьему гнезду, состоит из тесно переплетенных между собой прутьев – ее членов. Со времен первого ирландского романа, «Замок Рэкрент – правдивая повесть из жизни ирландских сквайров до 1782 года» (1800), написанного Марией Эджворт, до «В кругу семьи» (2009) Энн Энрайт, со времен баллады семнадцатого века «Плач о Килкаше» до таких мемуаров, как «Боуэнс-корт» (1942) Элизабет Боуэн и «Пегие люди» (2003) Хьюго Хэмилтона и стихотворений Йейтса, воспевающих усадьбу леди Грегори в Кул-парке, внутреннее единство дома и его обитателей оставалось излюбленной темой в ирландской литературе, каковой оно было для Тургенева и Чехова, Достоевского и Толстого. Дома гоголевских помещиков и Карамзовых характеризуют их владельцев; расставание Ростовых с их московским домом и продажа вишневого сада из одноименной пьесы становятся семейными трагедиями. В этом тождестве семьи и дома можно усмотреть свойство неокрепшей национальной литературы, чувствующей необходимость не только поведать читателям некую историю, но и рассказать о житейском укладе и особенностях мышления героев, – урок, который Вальтер Скотт и Тургенев усвоили, читая сочинения мисс Эджворт.

Возможно, именно это общее для ирландцев и русских стремление подчеркнуть свою самобытность объясняет, почему ирландские авторы оказались более восприимчивыми к рассказам и пьесам Чехова, нежели английские или французские. Дэниел Коркери, Фрэнк О'Коннор и Шон О Фэлань научились писать о своих соотечественниках по книгам Чехова. В Лондоне за постановку его пьес ратовал Бернард Шоу, а в Дублине – Эдвард Мартин, основавший вместе с Йейтсом и леди Грегори театр «Эбби». В 1914 г. Мартин и Джозеф Планкетт – тот самый, что подписал позже «Прокламацию о создании Ирландской республики», ирландскую декларацию независимости от британского правления, а в 1916 г. был расстрелян англичанами, – открыли в Дублине «Ирландский театр», чтобы ставить там пьесы Чехова и других драматургов с континента, поскольку по инициативе Йейтса из репертуара театра «Эбби» были исключены все зарубежные пьесы. В последние годы

In recent years Tom Kilroy, Tom Murphy, and Brian Friel have recognized the resemblances between Chekhov's Russia and nineteenth-century Ireland, and prepared versions of his plays with Irish actors and audiences in mind. Seamus Heaney's "Arion" (2001) is a version of Pushkin's poem of the same name, and Tom Paulin's "Voronezh" (1986) recalls Anna Akhmatova's lines dedicated to the poet Osip Mandelstam, who was exiled to that city. Tom Murphy's *The Last Days of a Reluctant Tyrant* (2010) dramatized Saltykhov-Shchedrin's grim 1876 *Golovlyov Family* saga.

Yeats's poetry was not well known in Russia, though the Symbolist poets Konstantin Balmont and Valery Bryusov translated some of his poems. Eleven stories from Joyce's *Dubliners* appeared in Russian in 1927, and all of them in 1937, while excerpts and episodes from *Ulysses* were published occasionally between 1925 and 1935. Yevgeny Zamyatin enthusiastically reviewed *Ulysses* in 1923, and later compared him to Andrei Bely, "the Russian Joyce." But after Joyce was condemned by Karl Radek at the 1934 Soviet Writers' Congress his works were not published in the Soviet Union. We know that Sergei Eisenstein, Boris Pasternak, and Anna Akhmatova all read *Ulysses* — Akhmatova six times.

"Prose," the opening section of *Irlandskaya literatura*, offers chapters from two recent novels and a memoir, Hugo Hamilton's *The Speckled People* (2003). All three are recollections of Irish childhoods, in the tradition of Yeats's *Reveries over Childhood and Youth* (1914) and Joyce's *A Portrait of the Artist as a Young Man* (1914-15) recording children trying to make sense of their world and its meanings. In *The Gathering* (2007), Anne Enright's narrator confronts her own uncertain knowledge about her parents and grandmother. "I would like to write down what happened in my grandmother's house the summer I was eight or nine, but I am not sure if it really did happen," she begins; "I need to bear witness to an uncertain event." Thirty years later that event and its uncertainty obsess her, as she confronts her brother Liam's suicide, and the eight surviving Hegarty children and their remote mother gather at that most typical of Irish occasions, the wake — where the dead are at once both emphatically present and emphatically absent. They can be questioned but they have no answers. Veronica can only question herself, and try to tell herself stories about her grandmother: "She was wearing blue," she tells us at one point, but adds, "or so I imagine it." This is no idyll of Irish childhood, but a bleak look at the Ireland of the fifties and sixties, where birth control and divorce were illegal: Veronica lists her mother's twelve children and seven miscarriages. It is a vanished world now, but one that has left a damaged legacy and too many nasty hidden secrets — which these opening chapters make the reader eager to discover.

Том Килрой, Том Мерфи и Брайан Фрил обратили внимание на сходство чеховской России с Ирландией девятнадцатого века и подготовили новые постановки его пьес с расчетом на своих отечественных актеров и публику. Стихотворение Шеймаса Хини «Арион» (2001) – перевод пушкинского стихотворения с тем же названием, а «Воронеж» (1986) Тома Полина – переложение ахматовских строк, посвященных изгнанному в этот город Осипу Манделштаму. В основу пьесы Тома Мерфи «Последние дни упрямого тирана» (2010) легла мрачная сага Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» (1876).

Стихи Йейтса известны в России не так уж широко, хотя некоторые из них были переведены поэтами-символистами Константином Бальмонтом и Валерием Брюсовым. В 1927 г. на русском появились одиннадцать новелл из «Дублинцев» Джойса, а вся книга вышла в 1937 г.; разрозненные отрывки и эпизоды из «Улисса» публиковались на протяжении периода с 1925 по 1935 годы. В 1923 г. Евгений Замятин написал на «Улисс» восторженную рецензию, а позднее он же сравнил его автора с Андреем Белым, этим «русским Джойсом». Однако в 1934 г. на Съезде советских писателей Карл Радек отозвался о Джойсе резко отрицательно, и это практически положило конец публикации его произведений в Советском Союзе. Нам известно, что «Улисса» читали Сергей Эйзенштейн, Борис Пастернак и Анна Ахматова – последняя прочла его шесть раз.

«Проза», первый раздел «Ирландской литературы», предлагает читателям главы из двух недавно вышедших в свет романов и книги мемуаров «Пегие люди» (2003) Хьюго Хэмилтона. Все три отрывка представляют собой воспоминания об ирландском детстве, в традиции йейтсовских «Грез о детстве и юности» (1914) и джойсовского «Портрета художника в юности» (1914-15), где тоже описано, как дети стараются осмыслить окружающий мир. Героиня романа Энн Энрайт «В кругу семьи» (2007) стремится разобраться в своих смутных воспоминаниях о родителях и бабушке. «Мне хочется написать о том, что случилось в доме моей бабушки тем летом, когда мне было лет восемь или девять, однако я не до конца уверена, что все это было на самом деле, – начинает она. – Мне надо дать показания касательно недостоверного события». Это событие и его недостоверность по-прежнему не дают ей покоя даже через тридцать лет, когда она переживает самоубийство брата Лиамы и восемь оставшихся в живых детей Хегарти приезжают к своей рассеянной матери на очень типичное ирландское мероприятие – поминки, где присутствие и одновременно отсутствие мертвых членов семьи кажется особенно заметным. Родственникам можно задавать вопросы, но у них нет ответов. Веронике остается спрашивать только себя и пытаться рассказать себе самой истории о своей бабушке: «Она была в голубом, – говорит нам Вероника в какой-то момент, но тут же добавляет: – А может, я это просто вообразила». Перед нами отнюдь не идиллическое ирландское детство, а довольно гнетущая картина Ирландии пятидесятых и шестидесятых, когда контрацептивы и разводы были запрещены – Вероника перечисляет двенадцать детей матери и семь ее выкидышей. Теперь этот мир уже ушел в прошлое, оставив за собой тяжелое наследие в виде искалеченных жизней и множества зловещих тайн, которые нам не терпится раскрыть после прочтения этих первых глав.

Russian readers will recognize the technique of what Viktor Shklovsky calls *ostranenie*, making strange, here applied to the traditional Irish childhood narrative and its celebration of home, hearth, and toughing it out through hard times. On the cover of Colum McCann's *Let the Great World Spin* (2009) Philippe Petit reclines high above New York on a tightrope stretched between the twin towers of the World Trade Centre, a metaphor for the balancing and connecting act that is fiction. McCann begins with another Irish childhood, in the mid nineteen-fifties. There is a missing father, his clothes still in the wardrobe; a check arrived every week from England, and "our mother ... slipped the envelope under a flowerpot ... next day it was gone. Nothing more was ever said." "Mind you, I've said nothing" is still a common phrase in Ireland, or Seamus Heaney's ingenious variant; "Whatever you say, say nothing." Mother's hand had been broken "many times," McCann writes. "We never knew the origin of the break: it was something left in silence." These reticences become the story, to be replaced by the narrator's brother Corrigan's lengthy and "indecipherable" prayers, his nocturnal absences from the bedroom the two boys share, and the man wrapped in a red blanket who seemed to know him: "for a moment it struck me that there might be some secret there." It is again a powerful invitation to read on, to penetrate the mystery.

The abandoned wife, the child dreaming of sainthood, the wife worn out by too many pregnancies, are familiar figures in Irish writing and Irish life. In Hugo Hamilton's *The Speckled People* Hamilton introduces another familiar Irish type, the Irish Nationalist and enthusiast for the Irish language. His father, Jack Hamilton, became Sean Ó hUrmoltaigh, and forbade the use of English in his home. "Your language is your home and your country is your language and your language is your flag," he declared; the family are "speckled" because their mother is German, their father Irish; the two boys go about in Aran sweaters and lederhosen. "When you're small you know nothing ... When you're small you're like a piece of white paper with nothing written on it." Hamilton has written his story on that white paper in English to make sense of his bilingual upbringing and the burdens of Irish and German histories that lie behind it. Like Veronica in *The Gathering* and the narrator of *Let the Great World Spin* he must admit strangeness and mystery to try to find a pattern, an answer, to make sense of the forces that shape his life and demand examination.

I will let the short stories, poems, memoir speak for themselves. Bram Stoker's *Dracula* is a variation on Irish legends about the *sidhe*, the dead who inhabit ancient burial mounds and sometimes emerge to prey upon the living. Dracula's depopulated Transylvania is in part a metaphor for the depopulated Ireland after the Great Famine

Русские читатели узнают прием, который Виктор Шкловский назвал острашением (описанием окружающего как чего-то, еще незнакомого), использованный здесь в традиционном ирландском повествовании о детстве с его акцентами на дом, семейный очаг и переживание вместе трудных времен. На обложке романа Колума Макканна «Пусть вертится огромный мир» (2009) Филипп Пети лежит высоко над Нью-Йорком на канате, протянутом между башнями-близнецами Всемирного торгового центра, – это метафора равновесия и соединения, на которых держится вся художественная литература. Макканн тоже начинает свой рассказ с ирландского детства, пришедшегося на середину пятидесятых годов прошлого века. Герои книги растут без отца, хотя его костюмы до сих пор висят в платяном шкафу; автор сообщает нам, что каждую неделю из Англии присылали чек, мать «совала его под цветочный горшок... и на следующий день он исчезал. Больше на эту тему никогда ничего не говорилось». «Имей в виду, я ничего не говорил», – это и теперь можно часто услышать в Ирландии, наряду с остроумной парфразой Шеймаса Хини: «Что ни говори, лишь бы ничего не говорить». «Мать ломала руку много раз, – пишет Макканн. – Происхождение этих травм так и осталось для нас тайной». История и складывается из этих умолчаний, которые затем уступают место долгим и «не поддающимся расшифровке» молитвам Корригана, брата главного героя, его ночным отлучкам из общей спальни двух мальчиков и закутанному в красное одеяло человеку, который словно бы с ним знаком: «мне внезапно пришло в голову, что здесь может быть какой-то секрет». И здесь мы снова чувствуем непреодолимое желание читать дальше, проникнуть в эту тайну.

Брошенная жена, мечтающий о святости мальчик, измученная постоянными родами мать – привычные персонажи в ирландской литературе и ирландской жизни. В «Пегих людях» Хьюго Хэмилтона мы встречаемся с другим знакомым ирландским типажом – ирландским националистом и поклонником национального языка. Отец Хьюго, Джек Хэмилтон, стал Шоном О Хурмолта и запретил пользоваться английским у себя дома. «Твой язык – это твой дом, и твоя страна – это твой язык, и твой язык – это твой флаг», – провозгласил он. Дети в этой семье «пегие», потому что мать у них немка, а отец ирландец; двое мальчишек носят свитера из шерсти с острова Аран и немецкие кожаные штаны. «Когда ты маленький, ты ничего не понимаешь... Когда ты маленький, ты как белый листок бумаги, на котором ничего не написано». Хэмилтон записал свою повесть на этом белом листке по-английски, чтобы разобраться в своем двуязычном воспитании и связанном с ним бремени ирландской и немецкой истории. Подобно Веронике из романа Энрайт и рассказчику из романа Макканна, он вынужден признать странность и таинственность мира, чтобы попытаться найти в нем логику и ответы на свои вопросы, чтобы отыскать смысл в тех силах, которые формируют его жизнь и требуют исследования.

Что касается рассказов, стихотворений и мемуаров, пусть они говорят сами за себя. «Дракула» Брэма Стокера представляет собой вариацию на тему ирландских легенд о шие – мертвецах, которые населяют древние могильные курганы и порой выходят оттуда, чтобы нападать на живых. Обезлюдившая Трансильвания, где живет Дракула, – это отчасти намек на Ирландию, обезлюдившую после жестокого

of 1846-49, known as *An Gorta Mór*, “The Great Hunger.” That phrase gave Patrick Kavanagh the title for his 1942 poem about the lonely life and the sexual hunger of an Irish farmer in an Ireland still suffering, a century later, from the loss of a million and a half people who died or emigrated during the Famine.

Marina Carr’s play *By the Bog of Cats* (1998) is also about hunger, hunger and displacement. Hester Swane is a “tinker,” one of Ireland’s travelling people or nomads, who are despised by the respectably settled. Threatened with expulsion from the community where she lives beside the Bog of Cats as an outcast, she takes a terrible revenge on the man who fathered her child, but now plans to marry another woman. The play is a conversation, an encounter with Euripides’s *Medea*, as well as more recent plays from the English and Irish traditions; Elizabethan revenge tragedies, Yeats’s *Purgatory* (1938) — itself the product of an encounter with traditional Japanese *Noh* plays — and perhaps with Beckett’s *Play* (1964) and Brian Friel’s *Living Quarters* (1977). Like Anne Enright’s *The Gathering* these plays are about family secrets, family ghosts, and intimate hatreds, and take their place in what Carr, in her essay “Dealing with the Dead,” calls every writer’s need to confront his/her cultural tradition, and be aware of what he/she is adding to it and taking from it.

As we have seen, Irish writers and Russian writers from the past have long participated in that dialogue. Now *Irish Literature in Russian Translation / Litríocht na hEireann aistrithe go Rúisis* will show Russian readers something of contemporary Irish literature and further facilitate that dialogue.

неурожая 1846-49 годов, известного под названием Ан Горта Моур, то есть Великий голод. Так Патрик Каванах озаглавил свою поэму 1942 года об одинокой жизни и сексуальном голоде ирландского фермера в стране, которая и теперь, спустя сто лет, страдает от потери полутора миллионов человек, погибших или эмигрировавших во время того ужасного бедствия.

Пьеса «У Кошкиной топи» (1998) Марины Карр тоже о голоде – о голоде и об изгнании. Хестер Суэйн – «дочь побродяги», одного из ирландцев-кочевников, презираемых почтенными оседлыми жителями. Она живет у Кошкиной топи как пария и, очутившись под угрозой полного отлучения от местного общества, жестоко мстит человеку, который стал отцом ее ребенка, но теперь собирается жениться на другой. Эта пьеса представляет собой разговор, в котором слышится переключки не только с еврипидовой «Медеей», но и с более близкими к нашему времени образчиками английской и ирландской драматургии – такими, как елизаветинские трагедии о мести и «Чистилище» (1938) Йейтса (в свою очередь навеянное классическими японскими пьесами для театра но), а может быть, еще беккетовская «Игра» (1964) и «Жилплощадь» (1977) Брайана Фрила. Как и «В кругу семьи» Энн Энрайт, все это пьесы о семейных тайнах, семейных призраках и долго лелеемой ненависти и все они продиктованы тем, что Карр в своем эссе «Общение с мертвыми» называет стремлением каждого писателя осмыслить свою культурную традицию и понять, что он к ней добавляет, а что у нее заимствует.

Как мы видели, ирландские и русские писатели прошлого издавна вели между собой интересный диалог. Теперь «Ирландская литература» познакомит русских читателей с некоторыми образцами современной ирландской литературы и поможет сделать этот диалог еще более продуктивным.

PROSE

THE GATHERING (extract)

Anne Enright

1

I would like to write down what happened in my grandmother's house the summer I was eight or nine, but I am not sure if it really did happen. I need to bear witness to an uncertain event. I feel it roaring inside me — this thing that may not have taken place. I don't even know what name to put on it. I think you might call it a crime of the flesh, but the flesh is long fallen away and I am not sure what hurt may linger in the bones.

My brother Liam loved birds and, like all boys, he loved the bones of dead animals. I have no sons myself, so when I pass any small skull or skeleton I hesitate and think of him, how he admired their intricacies. A magpie's ancient arms coming through the mess of feathers; stubby and light and clean. That is the word we use about bones: *Clean*.

I tell my daughters to step back, obviously, from the mouse skull in the woodland or the dead finch that is weathering by the garden wall. I am not sure why. Though sometimes we find, on the beach, a cuttlefish bone so pure that I have to slip it in my pocket, and I comfort my hand with the secret white arc of it.

You can not libel the dead, I think, you can only console them.

So I offer Liam this picture: my two daughters running on the sandy rim of a stony beach, under a slow, turbulent sky, the shoulders of their coats shrugging behind them. Then I erase it. I close my eyes and roll with the sea's loud static. When I open them again, it is to call the girls back to the car.

Rebecca! Emily!

It does not matter. I do not know the truth, or I do not know how to tell the truth. All I have are stories, night thoughts, the sudden convictions that uncertainty spawns. All I have are ravings, more like. *She loved him!* I say. *She must have loved him!* I wait for the kind of sense that dawn makes, when you have not slept. I stay downstairs while the family breathes above me and I write it down, I lay them out in nice sentences, all my clean, white bones.

ПРОЗА

В КРУГУ СЕМЬИ (фрагмент)

Энн Энрайт

Перевод В. Пророковой

1

Мне хочется написать о том, что случилось в доме моей бабушки тем летом, когда мне было лет восемь или девять, однако я не до конца уверена, что все это было на самом деле. Мне надо дать показания касательно недостоверного события. Я чувствую, как оно бушует во мне – то, чего, возможно, и не случилось. Я даже не знаю, как это назвать. Издевательство над телом? Но от тел, от плоти ничего уже не осталось, а какой вред можно принести костям?

Мой брат Лиам обожал птиц и, как все мальчишки, обожал останки животных – кости. У меня сыновей нет, и когда я вижу чей-нибудь крохотный череп или скелетик, я всегда вспоминаю, как Лиам восторгался хитроумной формой таких косточек. Сорочки зачатки рук в ошметках перьев, коротенькие, легкие, чистые. Про кости мы всегда так говорим – чистые.

Я прошу дочек не подходить к черепу мышки в лесу или к тушке зяблика, разлагающейся у садовой ограды. Сама не знаю почему. Впрочем, бывает, на берегу моря мы находим косточку каракатицы, такую отмытую, что я кладу ее в карман, и пальцы с удовольствием поглаживают ее тайный изгиб.

Оклеветать мертвых нельзя, думаю я, их можно только утешить.

Поэтому я мысленно рисую для Лиамы такую картинку: две мои дочки бегут по каменистому берегу моря, по песчаной кромке, над ними медленно плывут по низкому небу тучи, плащи топорщатся на спинах. Я стираю эту картинку. Закрываю глаза и покачиваюсь под громкий гул моря. А потом открываю глаза и зову их к машине.

Ребекка! Эмили!

Не знаю я правды или не знаю, как сказать правду, – это неважно. У меня только и есть что воспоминания, ночные мысли да внезапные озарения, которые порождает неопределенность. В голове крутится: «Она его любила! Не могла она его не любить!» Я жду рассвета – после бессонной ночи все понимается по-особому. Я сижу внизу, семья тихо спит наверху, и я все записываю, облакаю в стройные фразы – раскладываю свои чистые белые косточки.

Some days I don't remember my mother. I look at her photograph and she escapes me. Or I see her on a Sunday, after lunch, and we spend a pleasant afternoon, and when I leave I find she has run through me like water.

'Goodbye,' she says, already fading. 'Goodbye my darling girl,' and she reaches her soft old face up, for a kiss. It still puts me in such a rage. The way, when I turn away, she seems to disappear, and when I look, I see only the edges. I think I would pass her in the street, if she ever bought a different coat. If my mother committed a crime there would be no witnesses — she is forgetfulness itself.

'Where's my purse?' she used to say when we were children — or it might be her keys, or her glasses. 'Did anyone see my purse?' becoming, for those few seconds, nearly there, as she went from hall, to sitting room, to kitchen and back again. Even then we did not look at her but everywhere else: she was an agitation behind us, a kind of collective guilt, as we cast about the room, knowing that our eyes would slip over the purse, which was brown and fat, even if it was quite clearly there.

Then Bea would find it. There is always one child who is able, not just to look, but also to see. The quiet one.

'Thank you. Darling.'

To be fair, my mother is such a vague person, it is possible she can't even see herself. It is possible that she trails her fingertip over a line of girls in an old photograph and can not tell herself apart. And, of all her children, I am the one who looks most like her own mother, my grandmother Ada. It must be confusing.

'Oh hello,' she said as she opened the hall door, the day I heard about Liam.

'Hello. Darling.' She might say the same to the cat.

'Come in. Come in,' as she stands in the doorway, and does not move to let me pass.

Of course she knows who I am, it is just my name that escapes her. Her eyes flick from side to side as she wipes one after another off her list.

'Hello, Mammy,' I say, just to give her a hint. And I make my way past her into the hall.

The house knows me. Always smaller than it should be; the walls run closer and more complicated than the ones you remember. The place is always too small.

Behind me, my mother opens the sitting room door.

'Will you have something? A cup of tea?'

But I do not want to go into the sitting room. I am not a visitor. This is my house too. I was inside it, as it grew; as the dining room was knocked into the kitchen, as the kitchen swallowed the back garden. It is the place where my dreams still happen.

Бывает, я не могу вспомнить мать. Смотрю на ее фотографию, но образ ускользает. Или вижу ее в воскресенье, мы чудесно общаемся полдня, но, уйдя, я понимаю, что она просочилась сквозь меня, как вода.

– Прощай, – говорит она, уже теряя четкость очертаний. – Прощай, детка моя любимая. – И подставляет свое старое, обмякшее лицо для поцелуя. Меня это до сих пор безумно злит. Злит то, как она словно исчезает, стоит мне только отвернуться, а когда я опять гляжу на нее, вижу лишь силуэт. Купи она себе другое пальто, я бы прошла мимо нее на улице, не узнав. Соверши мама какое-нибудь преступление, свидетелей не нашлось бы: она – само воплощение беспамятства.

– Где мой кошелек? – спрашивала она, когда мы были маленькими. Или – где ключи, где очки. – Никто не видел мой кошелек? – Она тогда становилась почти заметной, забегала из прихожей в гостиную, оттуда в кухню, возвращалась назад. Даже тогда мы смотрели не на нее, а мимо, она была нависшей над нами нервозностью, чем-то вроде коллективной вины, и мы обшаривали глазами комнату, отлично зная, что кошелек, пухлый коричневый кошелек, мы проглядим, хотя он наверняка там.

Потом его находила Би. Всегда один из детей умеет не только смотреть, но и видеть. Самая тихая из нас.

– Спасибо, хорошая моя.

Правда, мама настолько расплывчатая, что она, наверное, и сама себя не видит. Проводит пальцем по девочкам на старой фотографии и себя отличить не может. Из всех ее детей только я похожа на ее собственную мать, на бабушку Аду. Такая вот путаница.

– Привет, – сказала она, открыв дверь; это было в тот день, когда я узнала про Лиаму.

– Привет, лапочка. – Она могла так и кошке сказать. – Ну, проходи, проходи. – А сама стоит в дверях и не думает посторониться, впустить меня.

Разумеется, она знает, кто я, просто имени моего вспомнить не может. Глаза у нее бегают – она мысленно проходится по списку, вычеркивая одно имя за другим.

– Привет, мамочка, – говорю я – даю ей подсказку. И проскальзываю мимо нее в прихожую.

Дом меня знает. Он, как всегда, меньше, чем должен бы быть; стены сдвинулись еще теснее и переходы еще хитрее, чем те, что я помню. Здесь все всегда еще меньше.

За моей спиной мама открывает дверь в гостиную.

– Хочешь чего-нибудь? Чаю?

Но я не хочу в гостиную. Я не гость. Это ведь и мой дом. Я была внутри, когда он рос, когда столовая вылезла в кухню, а кухня поглотила садик за домом. В этом месте до сих пор разворачиваются мои сны.

Not that I would ever live here again. The place is all extension and no house. Even the cubby-hole beside the kitchen door has another door at the back of it, so you have to battle your way through coats and hoovers to get into the downstairs loo. You could not sell the place, I sometimes think, except as a site. Level it and start again.

The kitchen still smells the same — it hits me in the base of the skull, very dim and disgusting, under the fresh, primrose yellow paint. Cupboards full of old sheets; something cooked and dusty about the lagging around the immersion heater; the chair my father used to sit in, the arms shiny and cold with the human waste of many years. It makes me gag a little, and then I can not smell it any more. It just is. It is the smell of us.

I walk to the far counter and pick up the kettle, but when I go to fill it, the cuff of my coat catches on the running tap and the sleeve fills with water. I shake out my hand, and then my arm, and when the kettle is filled and plugged in I take off my coat, pulling the wet sleeve inside out and slapping it in the air.

My mother looks at this strange scene, as if it reminds her of something. Then she starts forward to where her tablets are pooled in a saucer, on the near counter. She takes them, one after the other, with a flaccid absent-mindedness on the tongue. She lifts her chin and swallows them dry while I rub my wet arm with my hand, and then run my damp hand through my hair.

A last, green capsule enters her mouth and she goes still, working her throat. She looks out the window for a moment. Then she turns to me, remiss.

‘How are you. Darling?’

‘Veronica!’ I feel like shouting it at her. ‘You called me Veronica!’

If only she would become visible, I think. Then I could catch her and impress upon her the truth of the situation, the gravity of what she has done. But she remains hazy, unhittable, too much loved.

I have come to tell her that Liam has been found.

‘Are you all right?’

‘Oh, Mammy.’

The last time I cried in this kitchen I was seventeen years old, which is old for crying, though maybe not in our family, where everyone seemed to be every age, all at once. I sweep my wet forearm along the table of yellow pine, with its thick, plasticky sheen. I turn my face towards her and ready it to say the ritual thing (there is a kind of glee to it, too, I notice) but, ‘Veronica!’ she says, all of a sudden and she moves — almost rushes — to the kettle. She puts her hand on the bakelite handle as the bubbles thicken against the chrome, and she lifts it, still plugged in, splashing some water in to heat the pot.

He didn’t even like her.

Нет, жить в нем я больше никогда не буду. Здесь все сплошные пристройки, а собственно дома как будто бы и нет. Даже в каморке у кухни есть еще одна дверь, и чтобы попасть в уборную на первом этаже, нужно пробраться сквозь груды пальто и пылесосов. Этот дом не продать, думаю я порой, разве что на снос. Чтобы расчистить участок и построить новое жилье.

В кухне, хоть и свежавыкрашенной в лимонно-желтый цвет, пахнет по-прежнему – этот запах, очень слабый, но противный, ударяет мне куда-то в мозжечок. Буфеты со сложенными в них старыми простынями, кипятильник с чем-то пыльным, налипшим на спираль, кресло, в котором всегда сидел отец, с холодными подлокотниками, отполированными долгими годами безделья. Меня слегка подташнивает, а потом я перестаю различать запахи. Они просто есть. Так пахнет нами.

Я беру с дальней кухонной тумбы чайник, но когда начинаю наливать воду, цепляюсь манжетой за кран, и вода течет в рукав. Я трясую рукой, а набрав воды и включив чайник, снимаю плащ, выворачиваю мокрый рукав и машу им.

Мама наблюдает за моими странными манипуляциями и словно вспоминает что-то. А потом идет к ближней тумбе, где на блюдечке лежат ее таблетки. Рассеянно кладет одну за другой в рот. Запрокидывает голову и глотает, не запивая, а я вытираю ладонью мокрую руку и уже мокрой ладонью приглаживаю волосы.

Последней в мамин рот отправляется зеленая капсула, мама замирает, глотает с усилием. Смотрит в окно. Вяло оборачивается.

– Как ты... лапочка?

«Вероника! – хочется крикнуть мне. – Ты назвала меня Вероникой!» Хотя бы она стала видимой, думаю я. Я бы вцепилась в нее, объяснила, как все есть на самом деле, как ужасно то, что она натворила. Но она остается полупрозрачной – неуязвимой, слишком любимой.

Мне надо сказать ей, что Лиама нашли.

– Что с тобой?

– Ох, мама...

Последний раз я плакала на этой кухне в семнадцать лет – обычно в таком возрасте уже не плачут. Впрочем, к нашей семье, где все словно существуют одновременно во всех возрастах, это не относится. Я провожу мокрым локтем по сосновому столу, отполированному до пластмассового блеска. Затем поворачиваюсь к ней с тем видом, с каким принято сообщать печальные вести (сама замечаю в себе намек на злорадство), но – «Вероника!» – говорит она вдруг и идет, почти мчится к чайнику. Берется за черную ручку, хромированный бок уже туманится от пара, она плещет немного воды в заварочный чайник – прогреть его.

Она его всегда раздражала.

There is a nick in the wall, over by the door, where Liam threw a knife at our mother, and everyone laughed and shouted at him. It is there among the other anonymous dents and marks. Famous. The hold Liam made, after my mother ducked, and before everyone started to roar.

What could she have said to him? What possible provocation could she have afforded him — this sweet woman? And Ernest then, or Mossie, one of the enforcers, wrestling him out through the back door and on to the grass for a kicking. We laughed at that too. And my lost brother, Liam, laughed: the knife thrower, the one who was being kicked, he laughed too, and he grabbed his older brother's ankle to topple him into the grass. Also me — I was also laughing, as I recall. My mother clucking a little, at the sight of it, and going about her business again. My sister Midge picking up the knife and wagging it out the window at the fighting boys, before slinging it into the sink full of washing-up. If nothing else, our family had fun.

My mother puts the lid on the teapot and looks at me.

I am a trembling mess from hip to knee. There is a terrible heat, a looseness in my innards that makes me want to dig my fists between my thighs. It is a confusing feeling — somewhere between diarrhoea and sex — this grief that is almost genital.

It must have been over some boyfriend, the last time I cried here. Ordinary, family tears meant nothing in this kitchen; they were just part of the general noise. The only thing that mattered was, *He rang* or, *He didn't ring*. Some catastrophe. The kind of thing that would have you scabbling at the walls after five bottles of cider. *He left me*. Doubling over, clutching your midriff; howling and gagging. *He didn't even call to get his scarf back*. The boy with the turquoise eyes.

Because we were also — at a guess — great lovers, the Hegartys. All eye-to-eye and sudden fucking and never, ever, letting go. Apart from the ones who couldn't love at all. Which is most of us, too, in a way.

Which is most of us.

'It's about Liam,' I say.

'Liam?' she says. *Liam?*

My mother had twelve children and — as she told me one hard day — seven miscarriages. The holes in her head are not her fault. Even so, I have never forgiven her any of it. I just can't.

I have not forgiven her for my sister Margaret who we called Midge, until she died, aged forty-two, from pancreatic cancer. I do not forgive her my beautiful, drifting sister Bea. I do not forgive her my first brother Ernest, who was a priest in Peru, until he became a lapsed priest in Peru. I do not forgive her my brother Stevie, who is a little angel in heaven. I do not forgive her the whole tedious litany of Midge, Bea, Ernest, Stevie, Ita, Mossie, Liam, Veronica, Kitty, Alice and the twins, Ivor and Jem.

На косяке двери выбоина – след от ножа, который Лиам швырнул в маму, и все смеялись и орали на него. Эту выбоину окружают другие следы и отметины неизвестного происхождения. А эта – знаменитая. Ее сделал Лиам, когда мама увернулась, а остальные еще не успели поднять шум.

Что такого она могла ему сказать? Как его подначила – она, всегда такая милая? А потом то ли Эрнест, то ли Мосси – кто-то из крепких парней – вытащил его во двор, бросил на траву и стал пинать ногами. Над этим мы тоже смеялись. И мой пропавший брат, Лиам, смеялся: тот, который кинул нож и которого пинали, он тоже смеялся, а потом схватил старшего брата за лодыжку и повалил на траву. Да и я, я тоже, насколько помню, смеялась. Мама посмотрела, хмыкнула и снова занялась своими делами. Моя сестра Мидж схватила тот самый нож, погрозила им из окна дерущимся мальчишкам, а потом сунула его в раковину с грязной посудой. Что-что, а повеселиться наша семья умела.

Мама закрывает заварочный чайник крышкой и смотрит на меня.

Меня колотит – от пояса до колен. Внутренности у меня словно полыхают и содрогаются, хочется зажать кулаки между ног. Странное ощущение, как при поносе или во время секса – горе, пробирающее до гениталий.

Кажется, в последний раз я плакала тут из-за какого-то мальчика. Обычно в этой кухне на слезы внимания не обращали – рыдания сливались с общим шумом. Меня тогда только одно волновало: *он позвонил* или *он не позвонил*. Полная катастрофа. После такого, выпив пять бутылок сидра, в судорогах цепляешься за стены. *Он меня бросил*. Сгибаешься пополам, стискиваешь грудную клетку, воешь взахлеб. *Он даже не позвонил, чтобы забрать свой шарф*. Мальчик с бирюзовыми глазами.

Потому что мы, семейство Хегарти, почти все умеем любить напропалую. Глаза в глаза, потом вдруг перепахнуться и никогда уже ни за что не отпустить. Это в отличие от тех, кто вообще не умеет любить. Большинство из нас в каком-то смысле и такие тоже.

Большинство из нас такие.

– Это про Лиаму, – говорю я.

– Про Лиаму? – повторяет она. – *Про Лиаму?*

У моей мамы было двенадцать детей и – как она призналась мне в тяжелую минуту – семь выкидышей. Понятно, отчего у нее такая дырявая голова. Но я все равно ничего ей не простила. Не могу, и все тут.

Я ее не простила за свою сестру Маргарет, которую мы так и звали Мидж до самой ее смерти, а умерла она в сорок два года от рака поджелудочной. Я не могу простить ей мою прекрасную, неприкаемую сестру Би. И своего старшего брата Эрнеста, который был священником в Перу, а потом стал бывшим священником в Перу. И брата Стиви, ангелочка на небесах. Вот он, весь скорбный список тех, кого я не могу ей простить: Мидж, Би, Эрнест, Стиви, Ита, Мосси, Лиам, Вероника, Китти, Элис и близнецы, Айвор и Джем.

Such epic names she gave us — none of your Jimmy, Joe or Mick. The miscarriages might have got numbers, like '1962' or '1964' though perhaps she named them too, in her heart (Serena, Aifric, Mogue). I don't forgive her those dead children either. The way she didn't even keep a notebook, so you could tell who had what, when, and which jabs. Am I the only woman in Ireland still at risk from polio myelitis? No one knows. I don't forgive the endless hand-me-downs, and few toys, and Midge walloping us because my mother was too gentle, or busy, or absent, or pregnant to bother.

My sweetheart mother. My ageless girl.

No, when it comes down to it, I do not forgive her the sex. The stupidity of so much humping. Open and blind. Consequences, Mammy. *Consequences*.

'Liam,' I say, quite forcefully. And the riot in the kitchen quiets down as I do my duty, which is to tell one human being about another human being, the few and careful details of how they met their end.

'I'm afraid he is dead, Mammy.'

'Oh,' she says. Which is just what I expected her to say. Which is exactly the sound I knew would come out of her mouth.

'Where?' she says.

'In England, Mammy. Where he was. They found him in Brighton.'

'What do you mean?' she says. 'What do you mean, "Brighton"?'

'Brighton in England, Mammy. It's a town in the south of England. It's near London.'

And then she hits me.

I don't think she has ever hit me before. I try to remember later, but I really think that she left the hitting to other people: Midge, of course, who was always mopping something, and so would swipe the cloth at you, in passing, across your face, or neck, or the back of the legs, and the smell of the thing, I always thought, worse than the sting. Mossie, who was a psycho. Ernest, who was a thoughtful, flat-handed sort of man. As you went down the line, the hitting lost authority and petered out, although I had a bit of a phase, myself, with Alice and the twins, Ivor and Jem.

But my mother has one hand on the table, and she swings around with the other one to catch me on the side of the head. Not very hard. Not hard at all. Then she swings back, and grabs for the counter and the table; her head dipping below the spread of her arms. For a while she is silent, and then a terrible sound comes out of her. Quite soft. It seems to lift up off her back. She raises her head and turns to me, so that I can witness her face; the look on it, now, and the way it will never be the same again.

Don't tell Mammy. It was the mantra of our childhoods, or one of them. *Don't tell Mammy.* This from Midge, especially, but also from any one of the older ones.

Какие звучные имена она нам дала – никаких Джимми, Джо или Миков. Выкидыши она, наверное, запоминала по годам – «1962» или «1964», хотя, может, мысленно и звала их по имени (Сирина, Афьрик, Мог). Этих нерожденных детей я тоже не могу ей простить. И того, что она никогда не вела записей – кто, когда и чем болел и какие кому делали прививки. Может, я единственная в Ирландии женщина, которая может заболеть полиомиелитом? Этого никто не знает. Не могу простить бесконечные ношенные платья, жалкую кучку игрушек и то, как Мидж нас лупила, потому что мама была слишком добрая, или чем-то занята, или куда-то уходила, или ей, опять беременной, было на все наплевать.

Моя любимая мамочка. Девочка без возраста.

Ну а если уж по-честному, я не могу простить ей секса. Бесконечных совокуплений. Чуть ли не у всех на глазах, напропалую. А последствия, мамочка? *Последствия!*

– Про Лиама, – говорю я с нажимом. Все звуки на кухне гаснут, и я могу исполнить свой долг: рассказать одному человеческому существу про другое, сообщить необходимый минимум подробностей о том, как оно завершило свою жизнь.

– Мне очень жаль, но он умер, мама.

– Ох, – откликается она. Именно этого я и ждала. Я знала, что из ее уст вырвется именно такой звук. – Где? – спрашивает она.

– В Англии, мама. Где он и был. Его нашли в Брайтоне.

– Что ты имеешь в виду? – говорит она. – Что за Брайтон?

– Английский Брайтон, мама. Это город на юге Англии. Неподалеку от Лондона.

И тут она бьет меня по лицу.

Она, кажется, никогда меня раньше не била. Я потом пробую припомнить: нет, она действительно перепоручала это другим. Во-первых, была Мидж, которая вечно что-то мыла и запросто могла походя огреть по лицу, по шее, по ногам вонючей тряпкой – эта вонь была для меня хуже боли. Во-вторых, был психованный Мосси. Эрнест тоже мог ненароком угостить затрещиной. Следующие по списку дрались со мной на равных, а я сама иногда отыгрывалась на Элис и близнецах.

Мама стоит, опершись одной рукой о стол, а другой бьет меня по щеке. Не очень сильно. Совсем не сильно. Пошатнувшись, хватается за тумбу, зависает, держась и за тумбу, и за стол, так что опущенная голова оказывается ниже раскинутых рук. Несколько мгновений молчит, а потом издает жуткий звук. Совсем не громкий. Он словно слетает у нее со спины. Она поднимает голову, оборачивается ко мне, и я вижу ее лицо, то, какое оно теперь – прежним оно уже никогда не будет.

Маме не говорите. В детстве эти слова были нашей мантрой, одной из мантр. *Маме не говорите.* В основном эту фразу повторяла Мидж, но и другие старшие тоже.

If something broke or was spilt, if Bea did not come home or Mossie went up to live in the attic, or Liam dropped acid, or Alice had sex, or Kitty bled buckets into her new school uniform, or any number of phone messages about delays, snarl-ups, problems with bus money and taxi money, and once, catastrophically, Liam's night in the cells. None of the messages relayed: the whispered conference in the hall, *Don't tell Mammy*, because 'Mammy' would — what? Expire? 'Mammy' would worry. Which seemed fine to me. It was, after all, of her own making, this family. It had all come — singly and painfully — out of her. And my father said it more than anyone; level, gallant, *There's no need to tell your mother now*, as if the reality of his bed was all the reality that this woman should be asked to bear.

After my mother reaches over and hits me, for the first time, at the age of seventy to my thirty-nine, my mind surges, almost bursts, with the unfairness of it all. I think I will die of unfairness; I think it will be written on my death certificate. That this duty should devolve to me, for a start — because I am the careful one, of course. I have a car, an accommodating phone bill. I have daughters who are not obliged to fight over who is wearing the other one's knickers in the morning before they go to school. So I am the one who has to drive over to Mammy's and ring the doorbell and put myself in a convenient hitting position on the other side of her kitchen table. It is not as if I got these things by accident — husband, car, phone bill, daughters. So I am in a rage with every single one of my brothers and sisters, including Stevie, long dead, and Midge, recently dead, and I am boiling mad with Liam for being dead too, just now, when I need him most. Quite literally, I am beyond myself. I am so angry I have a second view of the kitchen, a high view, looking down: me with one wet sleeve rolled up, my bare forearm lying flat on the table, and on the other side of the table, my mother, cruciform, her head drooping from the little white triangle of her bare neck.

This is where Liam is. Up here. I feel him like a shout in the room. This is what he sees; my bare arm, our mother playing aeroplane between the counter and the table. Flying low.

'Mammy.'

The sound keeps coming out of her. I lift my arm.

'Mammy.'

Если что-то разбивалось или проливалось, если Би не приходила домой или Мосси перебирался жить на чердак, Лиам глотал кислоту, Элис с кем-нибудь путалась, Китти заляпывала кровью новую школьную форму, если звонили сказать, что задержались, попали в переплет, нет денег на автобус или на такси, а однажды был совсем ужас: Лиам провел ночь в участке. Ни одно из этих известий до мамы не доходило, велись шепотом переговоры в передней, *маме не говорите*, потому что мама – она что? Умрет от горя? Мама будет волноваться. По мне, так это было бы совершенно нормально. В конце концов, она сама себе такую семейку завела. Все мы вышли – по очереди и в муках – из нее. А отец говорил это чаще других. Спокойный, вежливый. «Нет никакой необходимости рассказывать об этом вашей матери» – словно от этой женщины нельзя было требовать, чтобы она выносила еще какую-то другую реальность, кроме реальности его постели.

Когда мать заносит руку и впервые в жизни бьет меня, семидесятилетняя тридцатидевятилетней, у меня сердце заходится, чуть не разрывается от несправедливости. Мне кажется, я этой несправедливости не переживу, ее и запишут в свидетельстве о смерти в качестве причины. Начать с того, что это поручили мне – как самой рассудительной. У меня есть машина, кредит на телефоне. У меня дочери, которые не должны утром перед школой ругаться, выясняя, кто чьи трусы надел. Поэтому это мне пришлось поехать к маме, позвонить в дверь, а в кухне сесть так, чтобы ей было удобно меня ударить. Разумеется, все это – муж, машина, кредитный счет, дочери – появилось у меня не случайно. Поэтому я злюсь на всех своих братьев и сестер, в том числе на давно умершего Стиви и недавно умершую Мидж, я бешено злюсь на Лиаму – за то, что он умер вот теперь, когда он мне больше всего нужен. Я буквально вне себя. Я так сердита, что даже вижу кухню в другом ракурсе, сверху: я с закатанным мокрым рукавом, голая рука лежит на столе, а с другой стороны стола мать, как распятая, с головой, склоненной над белеющим треугольником выреза.

Лиам – он здесь, наверху. Я чувствую его – его пронзительное как крик присутствие. Вот это он и видит – мою голую руку, нашу мать, раскинувшуюся самолетиком между столом и тумбой. На бреющем полете.

– Мама...

От нее продолжает исходить все тот же звук. Я поднимаю руку.

– Мама...

THE SPECKLED PEOPLE (extract)

Hugo Hamilton

1

When you're small you know nothing,

When I was small I woke up in Germany. I heard the bells and rubbed my eyes and saw the wind pushing the curtains like a big belly. Then I got up and looked out the window and saw Ireland. And after breakfast we all went out the door to Ireland and walked down to Mass. And after Mass we walked down to the big green park in front of the sea because I wanted to show my mother and father how I could stand on the ball for a count of three, until the ball squirted away from under my feet. I chased after it, but I could see nothing with the sun in my eyes and I fell over a man lying on the grass with his mouth open. He sat up suddenly and said, 'What the Jayses?' He told me to look where I was going in future. So I got up quickly and ran back to my mother and father. I told them that the man said 'Jayses', but they were both turned away, laughing at the sea. My father was laughing and blinking through his glasses and my mother had her hand over her mouth, laughing and laughing at the sea, until the tears came into her eyes and I thought, maybe she's not laughing at all but crying.

How do you know what that means when her shoulders are shaking and her eyes are red and she can't talk? How do you know if she's happy or sad? And how do you know if your father is happy or whether he's still angry at all the things that are not finished yet in Ireland. You know the sky is blue and the sea is blue and they meet somewhere, far away at the horizon. You can see the white sailing boats stuck on the water and the people walking along with ice-cream cones. You can hear a dog barking at the waves. You can see him standing in the water, barking and trying to bite the foam. You can see how long it takes for the sound of the barking to come across, as if it's coming from somewhere else and doesn't belong to the dog at all any more, as if he's barking and barking so much that he's hoarse and lost his voice.

When you're small you know nothing. You don't know where you are, or who you are, or what questions to ask.

Then one day my mother and father did a funny thing. First of all, my mother sent a letter home to Germany and asked one of her sisters to send over new trousers for my brother and me. She wanted us to wear something German — lederhosen. When the parcel arrived, we couldn't wait to put them on and run outside, all the way down the lane at

ПЕГИЕ ЛЮДИ (фрагмент)

Хьюго Хэмилтон

Перевод В. Гольшева

1

Когда ты маленький, ты ничего не понимаешь.

Когда я был маленьким, я проснулся в Германии. Я услышал колокола, протер глаза и увидел, как занавеска надулась от ветра, словно большое брюхо. Потом я встал, выглянул в окно и увидел Ирландию. А после завтрака мы вышли из дома в Ирландию и отправились к мессе. Потом мы гуляли по большому зеленому парку на морском берегу – я хотел показать папе и маме, что могу простоять на мяче до счета «три». Мяч выскользнул у меня из-под ног, я за ним погнался, но солнце било в глаза, я ничего не видел и споткнулся о человека, лежавшего на траве с открытым ртом. Он вдруг сел и сказал: «Какого черта?» И сказал мне, чтобы в другой раз я смотрел, куда иду. Я быстро встал и побежал назад к папе и маме. Я сказал им, что человек помянул «черта», а они стояли, отвернувшись к морю, и смеялись. Отец смеялся и моргал за очками, а мама прикрыла ладонью рот и смеялась, смеялась, глядя в море, пока у нее не выступили слезы. И я подумал, что, может, она вовсе не смеется, а плачет.

Если плечи у нее трясутся, глаза красные и говорить не может – как поймешь, что это значит? Как поймешь, рада она или огорчена? И как поймешь, радуется отец или по-прежнему сердится из-за всего, что еще не закончилось в Ирландии? Ты знаешь, что небо голубое и море голубое и что они сходятся где-то далеко, на горизонте. Ты видишь белые парусные лодки, застывшие на воде, и гуляющих людей с мороженым. Слышишь, как собака лает на волны. Видишь, как она стоит в воде и пытается укунить пену. Замечаешь, что лай летит до тебя долго, будто доносится из какого-то другого места, будто исходит он не от этой собаки, будто она все лаяла, лаяла, да так, что охрипла и потеряла голос.

Когда ты маленький, ты ничего не понимаешь. Не понимаешь, где ты, и кто ты, и какие вопросы надо задать.

Однажды мама и папа стали чудить. Сначала мама написала письмо домой в Германию и попросила сестру прислать новые брюки для меня и брата. Она захотела, чтобы мы носили что-нибудь немецкое – *lederhosen*. Посылка пришла, и нам не терпелось надеть их и выбежать за дверь, в переулок позади домов.

the back of the houses. My mother couldn't believe her eyes. She stood back and clapped her hands together and said we were real boys now. No matter how much we climbed on walls or trees, she said, these German leather trousers were indestructible, and so they were. Then my father wanted us to wear something Irish too. He went straight out and bought hand-knit Aran sweaters. Big, white, rope patterned, woollen sweaters from the west of Ireland that were also indestructible. So my brother and I ran out wearing lederhosen and Aran sweaters, smelling of rough wool and new leather, Irish on top and German below. We were indestructible. We could slide down granite rocks. We could fall on nails and sit on glass. Nothing could sting us now and we ran down the lane faster than ever before, brushing past nettles as high as our shoulders.

When you're small you're like a piece of white paper with nothing written on it. My father writes down his name in Irish and my mother writes down her name in German and there's a blank space left over for all the people outside who speak English. We're special because we speak Irish and German and we like the smell of these new clothes. My mother says it's like being at home again and my father says your language is your home and your country is your language and your language is your flag.

But you don't want to be special. Out there in Ireland you want to be the same as everyone else, not an Irish speaker, not a German or a Kraut or a Nazi. On the way down to the shops, they call us the Nazi brothers. They say we're guilty and I go home and tell my mother I did nothing. But she shakes her head and says I can't say that. I can't deny anything and I can't fight back and I can't say I'm innocent. She says it's not important to win. Instead, she teaches us to surrender, to walk straight by and ignore them.

We're lucky to be alive, she says. We're living in the luckiest place in the world with no war and nothing to be afraid of, with the sea close by and the smell of salt in the air. There are lots of blue benches where you can sit looking out at the waves and lots of places to go swimming. Lots of rocks to climb on and pools to go fishing for crabs. Shops that sell fishing lines and hooks and buckets and plastic sunglasses. When it's hot you can get an ice pop and you can see newspapers spread out in the windows to stop the chocolate melting in the sun. Sometimes it's so hot that the sun stings you under your jumper like a needle in the back. It makes tar bubbles on the road that you can burst with the stick from the ice pop. We're living in a free country, she says, where the wind is always blowing and you can breathe in deeply, right down to the bottom of your lungs. It's like being on holiday all your life because you hear seagulls in the morning and you see sailing boats outside houses and people even have palm trees growing in their front gardens. Dublin where the palm trees grow, she says, because it looks like a paradise and the sea is never far away, like a glass of blue-green water at the bottom of every street.

Мама глазам своим не верила. Она отошла от нас. Хлопнула в ладоши и сказала, что теперь мы настоящие мальчики. Теперь можете лазать по деревьям и заборам сколько угодно, сказала она, эти немецкие штаны неистребимы. Так оно и было. Потом папа захотел, чтобы мы носили и что-нибудь ирландское. Он пошел и купил рыбацкие свитера ручной вязки. Большие белые шерстяные свитера, связанные на западе Ирландии, тоже неистребимые. Теперь мы с братом бегали в кожаных штанах и рыбацких свитерах и пахли кожей и грубой шерстью – снизу немцы, сверху ирландцы. И тоже неистребимые. Мы могли съезжать по гранитным камням. Могли падать на гвозди и сидеть на битом стекле. Никто не мог нас ужалить – мы бегали по переулку быстрее прежнего и продирались сквозь крапиву ростом нам по плечо.

Когда ты маленький, ты как белый листок бумаги, на котором ничего не написано. Папа пишет свое имя по-ирландски, мама пишет свое имя по-немецки, и внизу еще полно свободного места для всех, кто говорит на улице по-английски. Мы особенные потому, что говорим по-ирландски и по-немецки, и нам нравится запах нашей новой одежды. Мама говорит, это все равно что вернуться домой, а папа говорит, что твой язык – это твой дом, и твоя страна – это твой язык, и твой язык – это твой флаг.

Но быть особенным не хочется. Там, на улице, хочется быть как все – ни ирландски говорящим, ни по-немецки, быть не фрицем, не фашистом. По дороге в магазин нас обзывают братьями-фашистами. И кричат, что мы виноваты; я прихожу домой и говорю маме, что я ничего не сделал. А она мотает головой и отвечает, что я так говорить не могу. Не могу ничего отрицать, не могу драться из-за этого и говорить, что я не виноват. Она говорит, что не важно, за кем останется последнее слово, и учит нас не связываться – просто проходить мимо и не обращать внимания.

Счастье еще, что мы живы, она говорит. Мы живем в самом счастливом месте на земле: здесь нет войны, и нечего бояться, рядом море, и воздух пахнет солью. Сколько угодно синих скамеек – можешь сидеть и смотреть на волны; сколько угодно мест для купанья. И скал, чтобы лазать по ним, и заводей, чтобы ловить крабов. В магазинах продают лески, крючки и ведерки, пластмассовые солнечные очки. В жару можешь купить фруктовый лед на палочке и видишь в витринах расстеленные газеты – чтобы не таял шоколад под солнцем. Иногда жара такая, что солнце жалит спину сквозь пуловер, как иголками. Гудрон на дороге пузырится, и можно проткнуть пузырь палочкой от мороженого. Мы живем в свободной стране, – она говорит, – где всегда дует ветер и вольно дышится полной грудью. Это как будто у тебя всю жизнь отпуск: утром слышишь чаек, видишь парусные лодки прямо за домами, и даже пальмы растут у людей в садиках. Она говорит, в Дублине растут пальмы, потому что он похож на рай, и море всегда близко – внизу каждой улицы, как зелено-голубой стакан воды.

But that changes nothing. Sieg Heil, they shout. Achtung. Schnell schnell, Donner und Blitzen. I know they're going to put us on trial. They have written things on the walls, at the side of the shop and in the laneways. They're going to get us one of these days and ask questions that we won't be able to answer. I see them looking at us, waiting for the day when we're alone and there's nobody around. I know they're going to execute me, because they call my older brother Hitler, and I get the name of an SS man who was found in Argentina and brought back to be put on trial for all the people he killed.

'I am Eichmann,' I said to my mother one day.

'But that's impossible,' she said. She kneeled down to look into my eyes. She took my hands and weighed them to see how heavy they were. Then she waited for a while, searching for what she wanted to say next.

'You know the dog that barks at the waves?' she said. 'You know the dog that belongs to nobody and barks at the waves all day until he is hoarse and has no voice any more. He doesn't know any better.'

'I am Eichmann,' I said. 'I am Adolf Eichmann and I'm going to get an ice pop. Then I'm going down to the sea to look at the waves.'

'Wait,' she said. 'Wait for your brother.'

She stands at the door with her hand over her mouth. She thinks we're going out to Ireland and never coming back home again. She's afraid we might get lost in a foreign country where they don't have our language and nobody will understand us. She is crying because I'm Eichmann and there is nothing she can do to stop us going out and being Nazis. She tells us to be careful and watches us going across the street until we go around the corner and she can't see us any more.

So then we try to be Irish. In the shop we ask for the ice pop in English and let on that we don't know any German. We're afraid to be German, so we run down to the seafront as Irish as possible to make sure nobody can see us. We stand at the railings and look at the waves crashing against the rocks and the white spray going up into the air. We can taste the salt on our lips and see the foam running through the cracks like milk. We're Irish and we say 'Jaysus' every time the wave curls in and hits the rocks with a big thump.

'Jaysus, what the Jaysus,' I said.

'Jaysus, what the Jaysus of a big huge belly,' Franz said, and then we laughed and ran along the shore waving our fists.

Но это ничего не меняет. Кричат нам: «Зиг хайль. Ахтунг. Шнель, шнель. Доннер унд блитцен». Я знаю, они собираются нас судить. Они писали надписи на заборах, на стене магазина и в переулках. Однажды нас заберут и станут задавать вопросы, на которые мы не сможем ответить. Я вижу, как они смотрят на нас, дожидаются дня, когда мы останемся одни и рядом никого не будет. Знаю, они собираются нас казнить, потому что моего старшего брата называют Гитлером, а меня – тем эсэсовцем, которого разыскали в Аргентине и привезли судить за то, что убил столько людей.

– Я Эйхман, – сказал я однажды маме.

– Нет, это невозможно, – сказала она.

Она опустила на колени и посмотрела мне в глаза. Взяла мои руки и попробовала на вес – тяжелые ли. Потом помолчала, обдумывая, что она хочет мне сказать.

– Ты знаешь собаку, которая лает на волны? – спросила она. – Знаешь эту собаку, она ничья и весь день лает на волны, пока не охрипнет и не лишится голоса. Она ничего умнее не может придумать.

– Я Эйхман, – сказал я. – Я Адольф Эйхман и хочу фруктового мороженого. А потом пойду к морю и буду смотреть на волны.

– Подожди, – сказала она. – Подожди брата.

Она стоит в дверях, прикрыв рот ладонью. Она думает, что мы выходим в Ирландию и больше не вернемся домой. Она боится, что мы заблудимся в чужой стране, где не знают нашего языка и никто нас не поймет. Она плачет, потому что я Эйхман и она не может запретить нам выходить и быть фашистами. Она велит нам вести себя осторожно и следит, как мы переходим улицу, пока не скроемся за углом и нас уже не будет видно.

И мы стараемся быть ирландцами. В магазине мы просим по-английски фруктовый лед и делаем вид, будто немецкого не знаем. Мы боимся быть немцами и бегаем вдоль берега, изо всех сил притворяясь ирландцами, чтобы нас не замечали. Стоим у перил, смотрим, как волны разбиваются о камни и брызги взлетают в воздух. Чувствуем соль на губах и видим, как пена сбегает между камней, похожая на молоко. Мы ирландцы и говорим: «Черт тебя возьми» каждый раз, когда погибает волна и хлопается о камень.

– Черт тебя возьми, – сказал я.

– Черт ее возьми, какое толстое у нее брюхо, – сказал Франц, и мы засмеялись и побежали по берегу, махая кулаками.

'Big bully waves,' I shouted, because they could never catch us and they knew it. I picked up a stone and hit one of the waves right in the under-belly, right there as he stood up and rushed in towards us with his big, green saucer belly and his fringe of white hair falling down over his eyes.

'Get down, you big bully belly,' we laughed, as the stone caught the wave with a clunk and there was nothing he could do but surrender and lie down across the sand with his arms out. Some of them tried to escape, but we were too fast for them. We picked up more and more stones and hit them one by one, because we were Irish and nobody could see us. The dog was there barking and barking, and we were there holding back the waves, because we didn't know any better.

– Толстопузые волны, – закричал я, потому что они не могли нас догнать и сами это знали. Я схватил камень и запустил волне под брюхо – как раз когда она пошла на нас своим зеленым широким брюхом, с белым чубом, упавшим на глаза.

– Падай, толстая задира!

Камень вlepился в волну, и мы засмеялись: теперь ей ничего не оставалось, кроме как сдаться и плюхнуться на песок, раскинув руки. Некоторые пытались от нас спастись, но мы были проворнее их. Мы набирали все больше и больше камней и расстреливали их одну за другой. Потому что мы были ирландцы и никто нас не замечал. И собака была там, лаяла и лаяла, и мы отгоняли волны, потому что ничего умнее не могли придумать.

LET THE GREAT WORLD SPIN (extract)

Colum McCann

All respects to heaven, I like it here

One of the many things my brother, Corrigan, and I loved about our mother was that she was a fine musician. She kept a small radio on top of the Steinway in the living room of our house in Dublin and on Sunday afternoons, after scanning whatever stations we could find, Radio Éireann or BBC, she raised the lacquered wing of the piano, spread her dress out at the wooden stool, and tried to copy the piece through from memory: jazz riffs and Irish ballads and, if we found the right station, old Hoagy Carmichael tunes. Our mother played with a natural touch, even though she suffered from a hand which she had broken many times. We never knew the origin of the break: it was something left in silence. When she finished playing she would lightly rub the back of her wrist. I used to think of the notes still trilling through the bones, as if they could skip from one to the other, over the breakage. I can still after all these years sit in the museum of those afternoons and recall the light spilling across the carpet. At times our mother put her arms around us both, and then guided our hands so we could clang down hard on the keys.

It is not fashionable anymore, I suppose, to have a regard for one's mother in the way my brother and I had then, in the mid-1950s, when the noise outside the window was mostly wind and sea chime. One looks for the chink in the armor, the leg of the piano stool shorter than the other, the sadness that would detach us from her, but the truth is we enjoyed each other, all three of us, and never so evidently as those Sundays when the rain fell gray over Dublin Bay and the squalls blew fresh against the windowpane.

Our house in Sandymount looked out to the bay. We had a short driveway full of weeds, a square of lawn, a black ironwork fence. If we crossed the road we could stand on the curved seawall and look a good distance across the bay. A bunch of palm trees grew at the end of the road. They stood, smaller and more stunted than palms elsewhere, but exotic nonetheless, as if invited to come watch the Dublin rain. Corrigan sat on the wall, banging his heels and looking over the flat strand to the water. I should have known even then that the sea was written in him, that there would be some sort of leaving. The tide crept in and the water swelled at his feet. In the evenings he walked up the road past the Martello Tower to the abandoned public baths, where he balanced on top of the seawall, arms held wide.

On weekend mornings we strolled with our mother, ankle-deep in the low tide, and looked back to see the row of houses, the coastline, and the little scarves of smoke coming

ПУСТЬ ВЕРТИТСЯ ОГРОМНЫЙ МИР (фрагмент)

Колум Макканн

Перевод В. Бабкова

Рай – это здорово, но мне и тут нравится

Мы с Корриганом, моим братом, любили нашу мать за многое и в частности за то, что она была прекрасной пианисткой. В гостиной нашего дублинского дома стоял «Стейнвей», а на нем маленький приемник, и по воскресеньям, после обеда, она проходила по тем станциям, какие могла поймать, – «Радио Эрин» или «Би-би-си», – а потом поднимала лаковую крышку рояля, расправляла платье, усаживаясь на круглую табуретку, и пыталась целиком воспроизвести услышанное по памяти, будь то джазовая импровизация, ирландская баллада или – если попадался нужный канал – какая-нибудь старая песенка Хоги Кармайкла. Мать играла с врожденной легкостью, хоть у нее и болела рука, которую она ломала много раз. Происхождение этих травм так и осталось для нас тайной. Закончив пьесу, мать легонько потирала запястье с верхней стороны. Мне чудилось, что нотки еще пробегают по ее костям, перепрыгивая через перелом с одной на другую. Даже теперь, спустя столько лет, я могу вернуться в музей тех вечеров и вспомнить, как свет лежал на ковре. Иногда мать обнимала нас обоих и направляла наши руки, помогая нам шлепать ими по клавишам.

Теперь, я полагаю, уже не модно уважать свою мать так, как мы с братом уважали нашу в ту пору, в середине пятидесятых, когда за окнами шумели разве что ветер да волны. Невольно ищешь соринку в глазу – одна ножка табурета короче других, грусть, отделившая нас от нее, – но правда в том, что нам было хорошо вместе, втроем, и никогда это не ощущалось яснее, чем в такие воскресенья, когда над Дублинским заливом висела серая пелена дождя и шквалистый ветер бросал его нам в стекла.

Наши окна в Сэндимаунте выходили на залив. К дому вела короткая, заросшая сорняками подъездная дорожка, перед ним был квадрат лужайки, черная фигурная ограда. Если перейти дорогу, можно было стать на каменный парапет, плавно изгибающийся параллельно берегу, и вглядываться в морскую даль. В конце дороги росли тесной группой несколько пальм. Пониже и похилее, чем обычные, они все же выглядели экзотически – казалось, их специально пригласили сюда полюбоваться на дублинский дождь. Корриган часто сидел на парапете, постукивая по нему пятками и глядя на воду за плоской береговой полосой. Уже тогда мне следовало бы догадаться, что море поселилось у него в душе, что нам предстоит расставание. Наползал прилив, и вода взбухала у его ног. По вечерам он уходил по дороге мимо башни Мартелло к заброшенным общественным баням и балансировал там на волнорезе, широко раскинув руки.

По выходным, в часы утреннего отлива, мы бродили с матерью по щиколотку в воде, время от времени оборачиваясь и глядя на берег, на вереницу домов и

up from the chimneys. Two enormous red and white towers broke the horizon to the east, but the rest was a gentle curve, with gulls on the air, the mail boats out of Dun Laoghaire, the scud of clouds on the horizon. When the tide was out, the stretch of sand was corrugated and sometimes it was possible to walk a quarter-mile among isolated waterpools and bits of old refuse, long shaver shells, bedstead pipes.

Dublin Bay was a slow heaving thing, like the city it horseshoed, but it could turn without warning. Every now and then the water smashed up against the wall in a storm. The sea, having arrived, stayed. Salt crusted the windows of our house. The knocker on the door was rusted red.

When the weather blew foul, we sat on the stairs, Corrigan and I. Our father, a physicist, had left us years before. A check, postmarked in London, arrived through the letter box once a week. Never a note, just a check, drawn on a bank in Oxford. It spun in the air as it fell. We ran to bring it to our mother. She slipped the envelope under a flowerpot on the kitchen windowsill and the next day it was gone. Nothing more was ever said.

The only other sign of our father was a wardrobe full of his old suits and trousers in our mother's bedroom. Corrigan drew the door open. In the darkness we sat with our backs against the rough wooden panels and slipped our feet in our father's shoes, let his sleeves touch our ears, felt the cold of his cuff buttons. Our mother found us one afternoon, dressed in his gray suits, the sleeves rolled up and the trousers held in place with elastic bands. We were marching around in his oversize brogues when she came and froze in the doorway, the room so quiet we could hear the radiator tick.

'Well,' she said, as she knelt to the ground in front of us. Her face spread out in a grin that seemed to pain her. 'Come here.' She kissed us both on the cheek, tapped our bottoms. 'Now run along.' We slipped out of our father's old clothes, left them puddled on the floor.

Later that night we heard the clang of the coat hangers as she hung and rehung the suits.

Over the years there were the usual tantrums and bloody noses and broken rocking-horse heads, and our mother had to deal with the whispers of the neighbors, sometimes even the attentions of local widowers, but for the most part things stretched comfortably in front of us: calm, open, a sweep of sandy gray.

Corrigan and I shared a bedroom that looked out to the water. Quietly it happened, I still don't recall how: he, the younger one by two years, took control of the top bunk. He slept on his stomach with a view out the window to the dark, reciting his prayers — he called them his slumber verses — in quick, sharp rhythms. They were his own incantations, mostly indecipherable to me, with odd little cackles of laughter and long sighs. The closer he got to sleep the more rhythmic the prayers got, a sort of jazz, though sometimes in the middle of it all I could hear him curse, and they'd be lifted away from the sacred. I

ленточки дыма над трубами. На востоке торчали две огромные красно-белые башни, но в остальном панорама состояла из плавного берегового изгиба, чаек над ним, почтовых судов из Дан-Лири, несущихся по ветру рваных облачков над горизонтом. Когда море отступало, обнажалась неровная полоса песка, и иногда можно было пройти целую четверть мили среди отдельных лужиц и мусора, длинных острых ракушек, железяк от старых кроватей.

Обычно Дублинский залив дремал, размеренно дыша в объятиях обнимающего его города, но мог и взгреть без предупреждения. Вдруг поднимался шторм, и волны били в каменную стену. Подойдя, море не уходило сразу. На наших окнах оседала соль. Дверной молоточек был красен от ржавчины.

Когда погода портилась, мы подолгу сидели на лестнице – Корриган и я. Наш отец, физик, бросил нас уже давно. Каждую неделю в щель для писем опускали конверт с лондонским штемпелем. Внутри не было никакой записки – только чек на получение такой-то суммы со счета в оксфордском банке. Конверт кружился, падая на пол. Мы хватали его и бежали на кухню, к матери. Она совала его под цветочный горшок на подоконнике, и на следующий день он исчезал. Больше на эту тему никогда ничего не говорилось.

Кроме еженедельных чеков, единственным признаком существования отца был шкаф в спальне матери, полный его старых костюмов и брюк. Корриган открывал дверцу. Мы садились там в темноте, прислонясь спиной к грубым фанерным панелям, и засовывали ноги в старые отцовские туфли, чувствовали, как его рукава касаются наших ушей, холодя их пуговицами на манжетах. Однажды, ближе к вечеру, мать застала нас одетыми в его серые пиджаки с закатанными рукавами и брюки, которые мы подпоясали резинками. Мы вышагивали по комнате в его огромных туфлях, когда она вошла и замерла на пороге – в глубокой тишине слышалось только тиканье батарей.

– Так, – сказала она и опустилась перед нами на колени. По ее лицу расплзлась улыбка, которая словно причиняла ей боль. – Подите-ка сюда. – Она поцеловала нас обоих в щеку, потрепала по попе. – А теперь бегите. – Мы выскользнули из старой одежды нашего отца, оставив ее грудой на полу.

Позже в тот вечер мы слышали в ее комнате стук плечиков, когда она вешала и перевешивала костюмы.

Шли годы, на протяжении которых были обычные истерики, разбитые носы и сломанные деревянные лошадки; матери приходилось терпеть шепотки соседей и порой даже внимание местных вдовцов, но по большей части жизнь перед нами стелилась комфортная – покойная и просторная, точно ковер серого песка.

Мы с Корриганом спали в одной комнате, окнами на море. Как-то так, без ссор – уж и не помню, как именно, – сложилось, что он, хоть и двумя годами младше, занял верхнюю койку нашей двухэтажной кровати. Он засыпал на животе, глядя за окно, во тьму, и скороговоркой повторяя ритмичные строчки молитв – он называл их своей колыбельной. Это были его собственные заклинания, по большей части не поддающиеся расшифровке, время от времени перемежаемые короткими смешками и долгими вздохами. Чем ближе подступал к нему сон, тем ритмичнее становилось его бормотание, что-то вроде джаза, хотя иногда я слышал, как с его губ слетает ругательство, мигом уничтожающее ауру сакральности. Я был знаком

knew the Catholic hit parade — the Our Father, the Hail Mary — but that was all. I was a raw, quiet child, and God was already a bore to me. I kicked the bottom of Corrigan's bed and he fell silent awhile, but then started up again. Sometimes I woke in the morning and he was alongside me, arm draped over my shoulder, his chest rising and falling as he whispered his prayers.

I'd turn to him. 'Ah, Jesus, Corr, shut up.'

My brother was light-skinned, dark-haired, blue-eyed. He was the type of child everyone smiled at. He could look at you and draw you out. People fell for him. On the street, women ruffled his hair. Workingmen punched him gently on the shoulder. He had no idea that his presence sustained people, made them happy, drew out their improbable yearnings — he just plowed along, oblivious.

I woke one night, when I was eleven, to a cold blast of air moving over me. I stumbled to the window but it was closed, I reached for the light and the room burned quickly yellow. A shape was bent over in the middle of the room.

'Corr?'

The weather still rolled off his body. His cheeks were red. A little damp mist lay on his hair. He smelled of cigarettes. He put a finger to his lips for hush and climbed back up the wooden ladder.

'Go to sleep,' he whispered from above. The smell of tobacco still lingered in the air.

In the morning he jumped down from the bed, wearing his heavy anorak over his pajamas. Shivering, he opened the window and tapped the sand from his shoes off the sill, into the garden below.

'Where'd you go?'

'Just along by the water,' he said.

'Were you smoking?'

He looked away, rubbed his arms warm. 'No.'

'You're not supposed to smoke, y'know.'

'I didn't smoke,' he said.

Later that morning our mother walked us to school, our leather satchels slung over our shoulders. An icy breeze cut along the streets. Down by the school gates she went to one knee, put her arms around us, adjusted our scarves, and kissed us, one after the other. When she stood to leave, her gaze was caught by something on the other side of the road, by the railings of the church: a dark form wrapped in a large red blanket. The man raised a hand in salute. Corrigan waved back.

There were plenty of old drunks around Ringsend, but my mother seemed taken by the sight, and for a moment it struck me that there might be some secret there.

'Who's that, Mum?' I asked.

с католическим хит-парадом: Отче Наш, Богородица Дева, – но и только. Я рос флегматичным мальчишкой без излишних духовных запросов, и Бог нагонял на меня скуку уже тогда. После моего пинка снизу Корриган ненадолго умолкал, но потом все начиналось снова. Иногда, проснувшись утром, я обнаруживал его рядом с собой – рука лежит у меня на плече, грудь поднимается и опускается, а молитвенный шепот свербит мне ухо.

Я поворачивался к нему.

– Бога ради, Кор, заткнись наконец.

Мой брат был светлокочим, темноволосым, синеглазым. Глядя на таких детей, все улыбаются. Его взгляд подкупал. Люди тянулись к нему. Женщины на улице ерошили ему волосы. Рабочие ласково толкали в плечо. Он не замечал, что одним своим присутствием поддерживает людей, делает их счастливыми, будит их заветные мечты, – он просто брел вперед, точно в забыты.

Однажды ночью (мне тогда было одиннадцать) я проснулся оттого, что на меня пахнуло холодным воздухом. Шагнул в темноте к окну и проверил – закрыто. Тогда я нащупал выключатель, и комната вспыхнула желтым. Посреди комнаты стояла согнутая фигура.

– Кор?

Холод еще скатывался с его тела. Щеки были красными. На волосах блеснул налет влаги. От него пахло сигаретами. Он приложил палец к губам, чтобы я молчал, и полез обратно к себе по деревянному трапику.

– Спи, – шепнул он сверху. В комнате еще висел запах табака.

Утром брат спрыгнул с кровати в толстой куртке, надетой прямо на пижаму. Дрожа, он открыл окно и вытряхнул наружу, в сад, песок из своих ботинок.

– Где ты был?

– Просто гулял по берегу, – сказал он.

– Курил?

Он отвел взгляд, потер руки, чтобы согреть их.

– Нет.

– Тебе ведь не разрешается курить, сам знаешь.

– Я не курил, – сказал он.

Позже утром мать проводила нас в школу – мы шли, повесив на плечо свои кожаные сумки. По улицам сквозил студеной ветер. У школьных ворот она опустилась на одно колено, обняла нас, поправила нам шарфы и поцеловала по очереди. Когда она встала, ее взгляд привлекло что-то по ту сторону дороги, у церковной ограды – темный силуэт, закутанный в большое красное одеяло. Человек поднял руку в знак приветствия. Корриган помахал ему в ответ.

В Рингенде всегда хватало старых пьяниц, но мать замерла, как зачарованная, и мне внезапно пришло в голову, что здесь может быть какой-то секрет.

– Это кто, мам? – спросил я.

‘Run along,’ she said. ‘We’ll sort it out after school.’

My brother walked beside me, silent.

‘Who is it, Corrie?’ I thumped him. ‘Who is it?’

He disappeared towards his classroom.

All day I sat at my wooden desk, gnawing my pencil, wondering — visions of a forgotten uncle, or our father somehow returned, broken. Nothing, in those days, was beyond the realm of the possible. The clock was at the rear of the room but there was an old freckled mirror over the classroom sink and, at the right angle, I could watch the hands go backwards. When the bell struck I was out the gate, but Corrigan took the long road back, short, mincing steps through the housing estates, past the palm trees, along the seawall.

There was a soft brown paper package waiting for Corrigan on the top bunk. I shoved it at him. He shrugged and ran his finger along the twine, pulled it tentatively. Inside was another blanket, a soft blue Foxford. He unfolded it, let it fall lengthwise, looked up at our mother, and nodded.

She touched his face with the back of her fingers and said: ‘Never again, understand?’

Nothing else was mentioned, until two years later he gave that blanket away too, to another homeless drunk, on another freezing night, up by the canal on one of his late-night walks, when he tiptoed down the stairs and went out into the dark. It was a simple equation to him — others needed the blankets more than he, and he was prepared to take the punishment if it came his way. It was my earliest suggestion of what my brother would become, and what I’d later see among the cast-offs of New York — the whores, the hustlers, the hopeless — all of those who were hanging on to him like he was some bright hallelujah in the shitbox of what the world really was.

– Беги,– сказала она.– После школы разберемся.

Брат пошел рядом. Он молчал.

– Кто это, Корри? – Я пихнул его.– Кто, а?

Он свернул в коридор, к своему классу, и исчез.

Весь день я сидел за партой и глодал карандаш – мне мерещились то какой-то забытый дядя, то вдруг вернувшийся, сломленный жизнью отец. В те дни ничто не относилось к разряду невозможного. Часы висели на задней стене, но над классной раковиной было старое зеркало в крапинках, и, если подобрать нужный угол, можно было увидеть ползущие назад стрелки. Когда прозвенел звонок, я мигом очутился у ворот, но Корриган выбрал длинный путь домой – неторопливо и мелкими шажками, среди жилых домов, мимо пальм, вдоль прибрежного парапета.

Дома, на верхней койке, Корригана ждал увесистый тючок в оберточной бумаге. Я подтолкнул его к нему. Он пожал плечами и поддел шпагат пальцем, осторожно потянул. Внутри было другое одеяло – синее и мягкое, шерстяное. Он развернул его, расправил, поднял глаза на мать и кивнул.

Тыльной стороной пальцев она коснулась его лица и сказала:

– В первый и последний раз, слышишь?

С тех пор об этом не упоминалось, пока через два года он не отдал и это одеяло другому бездомному забулдыге, в другую морозную ночь – там, у канала, во время одной из своих поздних прогулок, когда он на цыпочках спускался по лестнице и исчезал в темноте. Это было для него простым уравнением: другим одеяла нужны больше, чем ему, и он готов понести кару, если она последует. Тогда я впервые получил представление о том, кем станет мой брат и каким я увижу его позднее среди отщепенцев Нью-Йорка – воров, проституток, неисправимых – всех, кто льнул к нему так, словно он был единственным светлым пятнышком во всем этом безнадежно поганом мире.

THE PARTING GIFT
(from WALK THE BLUE FIELDS)
Claire Keegan

When sunlight reaches the foot of the dressing table, you get up and look through the suitcase again. It's hot in New York but it may turn cold in winter. All morning the bantam cocks have crowed. It's not something you will miss. You must dress and wash, polish your shoes. Outside, dew lies on the fields, white and blank as pages. Soon the sun will burn it off. It's a fine day for the hay.

In her bedroom your mother is moving things around, opening and closing doors. You wonder what it will be like for her when you leave. Part of you doesn't care. She talks through the door.

'You'll have a boiled egg?'

'No thanks, Ma.'

'You'll have something?'

'Later on, maybe.'

'I'll put one on for you.'

Downstairs, water spills into the kettle, the bolt slides back. You hear the dogs rush in, the shutters folding. You've always preferred this house in summer: cool feeling in the kitchen, the back door open, scent of the dark wallflowers after rain.

In the bathroom you brush your teeth. The screws in the mirror have rusted, and the glass is cloudy. You look at yourself and know you have failed the Leaving Cert. The last exam was history and you blanked out on the dates. You confused the methods of warfare, the kings. English was worse. You tried to explain that line about the dancer and the dance.

You go back to the bedroom and take out the passport. You look strange in the photograph, lost. The ticket says you will arrive in Kennedy Airport at 12.25, much the same time as you leave. You take one last look around the room: walls papered yellow with roses, high ceiling stained where the slate came off, cord of the electric heater swinging out like a tail from under the bed. It used to be an open room at the top of the stairs but Eugene put an end to all of that, got the carpenters in and the partition built, installed the door. You remember him giving you the key, how much that meant to you at the time.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОДАРОК
(из сборника «ПРОГУЛКИ ПО ГОЛУБЫМ ПОЛЯМ»)

Клер Киган

Перевод Л. Мотылева

Когда солнечная полоса доползает до ножек туалетного столика, встаешь и снова перебираешь содержимое чемодана. В Нью-Йорке сейчас жара, но зимой может стать холодно. Все утро кукарекали бентамские петухи. По этому вряд ли будешь скучать. Надо одеваться, умываться, чистить туфли. Снаружи на лугах лежит роса, белая, как неисписанные страницы. Скоро ее высушит солнце. Прекрасный день для заготовки сена.

Мама что-то переставляет в своей спальне, открывает и закрывает дверцы. Задумываешься, каково ей будет, когда ты уедешь. Честно сказать, не так уж тебя это волнует. Мама обращается к тебе через дверь:

- Будешь вареное яйцо?
- Нет, ма, спасибо.
- Или другое что-нибудь?
- Может быть, попозже.
- Я тебе яйцо сварю.

Внизу в чайник льется вода, отодвигается засов. Слышно, как в дом вбегают собаки, как открываются складные ставни. Дом всегда больше нравился тебе летом: на кухне прохладно, задняя дверь отворена, после дождя пахнет темными желтофиолями.

Чистишь зубы в ванной. Винты, которыми прикручено зеркало, заржавели, стекло мутное. Смотришь на себя и думаешь, что завалила выпускные экзамены. Последний был по истории, и ты перезабыла все даты. Путала королей, способы ведения войны. С английским было еще хуже. Пыталась объяснить, что означает строчка из Йейтса про танцора и танец.

Возвращаешься в спальню и вынимаешь паспорт. На фотографии у тебя странный, потерянный вид. На билете значится, что в аэропорт Кеннеди прибудешь в 12.25 – почти в то же время, когда вылетишь. Оглядываешь в последний раз комнату: желтые обои с розочками, высокий потолок с пятном под местом, где съехала шиферная плитка, из-под кровати, похожий на чей-то хвост, тянется шнур электрообогревателя. Раньше это была открытая комната наверху лестницы, но Юджин положил этому конец: позвал плотников, и они поставили перегородку, навесили дверь. Ты помнишь, как он дал тебе ключ, как много это значило для тебя тогда.

Downstairs, your mother stands over the gas cooker waiting for the pot to boil. You stand at the door and look out. It hasn't rained for days; the spout that runs down from the yard is little more than a trickle. The scent of hay drifts up from neighbouring fields. As soon as the dew burns it off, the Rudd brothers will be out in the meadows turning the rows, saving it while the weather lasts. With pitchforks they'll gather what the baler leaves behind. Mrs Rudd will bring out the flask, the salad. They will lean against the bales and eat their fill. Laughter will carry up the avenue, clear, like birdcall over water.

'It's another fine day.' You feel the need for speech.

Your mother makes some animal sound in her throat. You turn to look at her. She wipes her eyes with the back of her hand. She's never made any allowance for tears.

'Is Eugene up?' she says.

'I don't know. I didn't hear him.'

'I'll go and wake him.'

It's going on for six. Still an hour before you leave. The saucepan boils and you go over to lower the flame. Inside, three eggs knock against each other. One is cracked, a ribbon streaming white. You turn down the gas. You don't like yours soft.

Eugene comes down wearing his Sunday clothes. He looks tired. He looks much the same as he always does.

'Well, Sis,' he says. 'Are you all set?'

'Yeah.'

'You have your ticket and everything?'

'I do.'

Your mother puts out the cups and plates, slices a quarter out of the loaf. This knife is old, its teeth worn in places. You eat the bread, drink the tea and wonder what Americans eat for breakfast: Eugene tops his egg, butters bread, shares it with the dogs. Nobody says anything. When the clock strikes six, Eugene reaches for his cap.

'There's a couple of things I've to do up the yard,' he says. 'I won't be long.'

'That's all right.'

'You'd want to leave on time,' your mother says. 'You wouldn't want to get a puncture.'

You place your dirty dishes on the draining board. You have nothing to say to your mother. If you started, you would say the wrong things and you wouldn't want it to end that way. You go upstairs but you'd rather not go back into the room. You stand on the landing. They start talking in the kitchen but you don't hear what they say. A sparrow swoops down onto the window ledge and pecks at his reflection, his beak striking the glass. You watch him until you can't watch him any longer and he flies away.

Внизу мама стоит над плитой, ждет, когда закипит кастрюлька. Подходишь к задней двери и смотришь наружу. Дождя не было довольно давно, по сточному желобу вода со двора течет еле-еле. С лугов плывет запах сена. Как только сойдет роса, братья Радды отправятся ворошить валки, прессовать сено в тюки: надо торопиться, пока погода держится. Вилами будут собирать то, что оставит пресс-подборщик. Миссис Радд принесет им фляжку, салат. Сядут, прислонятся к тюкам и наедятся досыта. Вдоль дорожки сюда будет лететь их смех, чистый, как щебет птиц над водой.

Говоришь, чтобы сказать хоть что-нибудь:

– День опять будет погожий.

Мама издает горлом какой-то нечеловеческий звук. Оборачиваешься, смотришь на нее. Вытирает глаза тыльной стороной ладони. Для слез она никогда не видела законных причин.

– Юджин встал? – спрашивает она.

– Не знаю. Я не слышала.

– Пойду разбужу.

Скоро шесть. До отъезда еще час. Кастрюлька кипит,ходишь уменьшить огонь. Внутри постукивают друг о дружку три яйца. В одном трещина, из нее тянется, развеиваясь, белая лента. Приворачиваешь газ. Пусть поварятся, всмятку ты не любишь.

Спускается Юджин в выходном костюме. Вид у него более или менее обычный. Усталый.

– Ну что, сестренка, – спрашивает. – Готова?

– Ага.

– Билет и все остальное?

– Положила.

Мама ставит на стол чашки и тарелки, отрезает четверть от буханки. Нож старый, зубчики местами стерлись. Откусываешь хлеб, пьешь чай и думаешь, что едят на завтрак американцы. Юджин разбивает яйцо, мажет маслом хлеб, делится им с собаками. Никто не говорит ни слова. Когда часы бьют шесть, Юджин тянется за кепкой.

– Мне надо кое-что сделать во дворе, – говорит он. – Я быстро.

– Хорошо, не волнуйся.

– Лучше выехать пораньше, – говорит мама. – А то, чего доброго, шину проколешь.

Ставишь свои грязные тарелки около раковины. Тебе нечего сказать маме. Откроешь рот – наговоришь чего не следует, а этим заканчивать не хочется. Идешь вверх, но в комнату предпочитаешь не входить. Стоишь на лестничной площадке. На кухне начинается разговор, но о чем говорят, не слышно. На наружный подоконник садится воробей и клюет свое отражение, стучит клювом по стеклу. Смотришь на него, пока не становится невозможно смотреть, и тогда он улетает.

*

Your mother didn't want a big family. Sometimes, when she lost her temper, she told you she would put you in a bucket, and drown you. As a child you imagined being taken by force to the edge of the Slaney River, being placed in a bucket, and the bucket being flung out from the bank, floating for a while before it sank. As you grew older you knew it was only a figure of speech, and then you believed it was just an awful thing to say. People sometimes said awful things.

Your eldest sister was sent off to the finest boarding school in Ireland, and became a school teacher. Eugene was gifted in school but when he turned fourteen your father pulled him out to work the land. In the photographs the eldest are dressed up: satin ribbons and short trousers, a blinding sun in their eyes. The others just came along, as nature took its course, were fed and clothed, sent off to the boarding schools. Sometimes they came back for a bank-holiday weekend. They brought gifts and an optimism that quickly waned. You could see them remembering everything, the existence, turning rigid when your father's shadow crossed the floor. Leaving, they'd feel cured, impatient to get away.

Your turn at boarding school never came. By then your father saw no point in educating girls; you'd go off and another man would have the benefit of your education. If you were sent to the day school you could help in the house, the yard. Your father moved into the other room but your mother gave him sex on his birthday. She'd go into his room and they'd have it there. It never took long and they never made noise but you knew. And then that too stopped and you were sent instead, to sleep with your father. It happened once a month or so, and always when Eugene was out.

You went willingly at first, crossed the landing in your nightdress, put your head on his arm. He played with you, praised you, told you you had the brains, that you were the brightest child. Then the terrible hand reaching down under the clothes to pull up the nightdress, the fingers, strong from milking, finding you. The mad hand going at himself until he groaned and then him asking you to reach over for the cloth, saying you could go then, if you wanted. The mandatory kiss at the end, stubble, and cigarettes on the breath. Sometimes he gave you a cigarette of your own and you could lie beside him smoking, pretending you were someone else. You'd go into the bathroom when it was over and wash, telling yourself it meant nothing, hoping the water would be hot.

Now you stand on the landing trying to remember happiness, a good day, an evening, a kind word. It seems apt to search for something happy to make the parting harder but nothing comes to mind. Instead you remember that time the setter had all those pups. It was around the same time your mother started sending you into his room. In the spout-house, your mother leant over the half barrel, and held the sack under the water until the whimpering stopped and the sack went still. That day she drowned the pups, she turned her head and looked at you, and smiled.

*

Мама не хотела большую семью. Порой, когда выходила из себя, она говорила, что надо было тебя в ведре утопить. В раннем детстве ты представляла, как тебя насильно приводят на берег реки Слейни, сажают в ведро, кидают его в воду, оно плывет некоторое время, а потом тонет. Когда подросла, ты поняла, что это была только фигура речи, и тебе показалось, что это ужасно – такое говорить. Бывает, что люди говорят друг другу ужасные вещи.

Самую старшую из твоих сестер послали учиться в лучший пансион Ирландии, потом она стала школьной учительницей. Юджин хорошо успевал в школе, но когда ему исполнилось четырнадцать, отец забрал его работать на ферме. На фотографиях старшие принаряжены: атласные ленточки, короткие брючки, солнце слепит глаза. Дети рождались в свой срок, их кормили и одевали, потом отправляли в пансионы. Иногда они приезжали на три выходных. Приезжали с подарками и с оптимизмом, который быстро улетучивался. Видно было, что они все помнят, все жите-бытье, напрягаются, когда на пол ложится тень отца. Под конец они испытывали облегчение, им не терпелось уехать обратно.

Твоя очередь учиться в пансионе так и не настала. К тому времени отец решил, что обучать девочек нет смысла: все равно уйдешь из семьи, и плодами твоего образования воспользуется чужой человек. Можно ходить в местную школу и помогать по дому, по двору. Отец перебрался от мамы в другую комнату, но она отдавалась ему в его дни рождения. Входила к нему, и там они это делали. Это всегда длилось недолго, и звуков оттуда никаких не доносилось, но ты знала. А потом даже это прекратилось, и взамен мама стала посылать к нему тебя, чтобы ты с ним лежала. Так бывало примерно раз в месяц, и всегда в отсутствие Юджина.

Первый раз ты пошла охотно: пересекла лестничную площадку в ночной рубашке, положила голову ему на руку. Он стал играть с тобой, хвалить, говорить, что ты смышленная, умнее всех остальных детей. Потом ужасная ладонь двинулась под одеялом, полезла тебе под рубашку, пальцы, сильные от дойки, добрались до твоего тела. Бешеной рукой он что-то делал с собой, делал, пока не простонал, а потом попросил передать ему полотенце и сказал, что ты можешь идти, если хочешь. Напоследок непременно поцелуй – щетина, сигаретное дыхание. Иногда он и тебе давал сигарету, и ты могла лежать с ним рядом, курить и воображать, что ты – не ты, а кто-то еще. После всего шла в ванную мыться, говоря себе, что это ничего не значит, и надеясь, что вода будет горячей.

Теперь стоишь на площадке и пытаешься вспомнить хорошее: радостный день, уютный вечер, ласковое слово. Уместно было бы что-нибудь отыскать в таком роде, чтобы затруднить расставание, но в голову ничего не приходит. Вспоминаешь вместо этого, как у сеттера, у суки, родились щенки. Это было примерно тогда же, когда мама стала посылать тебя в спальню к отцу. В сарае, где водяной желоб, мама наклонилась над кадкой и держала мешок в воде, пока скулеж не стих и мешок не перестал трепыхаться. Утопив щенков, она повернула голову, посмотрела на тебя и улыбнулась.

*

Eugene comes up and finds you standing there.

'It doesn't matter,' he says. 'Pay no heed.'

'What doesn't matter?'

He shrugs and goes into the room he shares with your father. You drag the suitcase downstairs. Your mother hasn't washed the dishes. She is standing there at the door with a bottle of holy water. She shakes some of this water on you. Some of it gets in your eyes. Eugene comes down with the car keys.

'Da wants to talk to you.'

'He's not getting up?'

'No. You're to go up to him.'

'Go on,' Ma says. 'Don't leave empty-handed.'

You go back up the stairs, stop outside his room. You haven't gone through this door since the blood started, since you were twelve. You open it. It's dim inside, stripes of summer light around the curtains. There's that same old smell of cigarette smoke and feet. You look at his shoes and socks beside the bed. You feel sick. He sits up in his vest, the cattle dealer's eyes taking it all in, measuring.

'So you're going to America,' he says.

You say you are.

'Aren't you the sly one?' He folds the sheet over his belly. 'Will it be warm out there?'

You say it will.

'Will there be anyone to meet you?'

'Yes.' Agree with him. Always, that was your strategy.

'That's all right, so.'

You wait for him to get the wallet out or to tell you where it is, to fetch it. Instead, he puts his hand out. You don't want to touch him but maybe the money is in his hand. In desperation you extend yours, and he shakes it. He draws you towards him. He wants to kiss you. You don't have to look at him to know he's smiling. You pull away, turn out of the room but he calls you back. This is his way. He'll give it to you now that he knows you thought you'd get nothing.

'And another thing,' he says. 'Tell Eugene I want them meadows knocked by dark.'

You go out and close the door. In the bathroom you wash your hands, your face, compose yourself once more.

'I hope he gave you money?' your mother says.

'He did,' you say.

'How much did he give you?'

'A hundred pound.'

*

Юджин поднимается по лестнице и видит тебя на площадке.

– Не важно, – говорит он. – Выбрось из головы.

– Что не важно?

Он пожимает плечами и входит в комнату, которую делит с отцом. Ты стаскиваешь чемодан вниз. Мама так и не вымыла посуду. Она стоит у кухонной двери с бутылкой святой воды. Кропит тебя этой водой. Брызги попадают в глаза. Спускается Юджин с ключами от машины.

– Папа хочет с тобой поговорить.

– Он не встанет?

– Нет. Поднимись, зайди к нему.

– Зайди, зайди, – говорит мама. – Не уезжай с пустыми руками.

Опять идешь по лестнице наверх, останавливаешься на пороге его комнаты. Ты не переступала его с двенадцати лет, с тех пор, как начались месячные. Открываешь дверь. Внутри сумрачно, вокруг штор полосы летнего света. Все тот же запах курева и немых ног. Опускаешь взгляд на ботинки с засунутыми в них носками около кровати. Подкатывает тошнота. Он садится на кровати в майке, глаза скототорговца все видят, все мигом оценивают.

– Значит, в Америку, – говорит он.

Отвечаешь, что да, в Америку.

– Ловко ты это, ловко. – Он прикрывает живот простыней. – Тепло там у них?

Отвечаешь, что тепло.

– Встретит тебя там кто-нибудь?

– Да.

Соглашайся с ним. Соглашайся, как всегда: такая у тебя стратегия.

– Ну, значит, все хорошо.

Ждешь, чтобы вынул бумажник или сказал, где он лежит. Вместо этого протягивает руку. Не хочется до него дотрагиваться, но, может быть, деньги в руке? Отчаявшись, подаешь ему свою, и он ее пожимает. Притягивает тебя к себе. Хочет поцеловать. И не глядя на него, можно сказать, что он улыбается. Отстраняешься, идешь из комнаты, но он тебя окликает. Обычная его манера. Даст тебе сейчас, когда уже решила, что ничего не получишь.

– Вот еще что, – говорит он. – Скажи Юджину, чтобы до темноты докосил луга.

Выходишь, закрываешь дверь. В ванной моешь руки, лицо, снова собираешься с силами, успокаиваешься.

– Надеюсь, дал тебе денег? – спрашивает мама.

– Дал, – отвечаешь.

– Сколько?

– Сто фунтов.

'He broke his heart,' she says. 'His own daughter, the last of ye, and he wouldn't even get out of the bed and you going to America. Wasn't it a black bastard I married!'

'Are you ready?' Eugene says. 'We better hit the road.'

You put your arms around your mother. You don't know why. She changes when you do this. You can feel her getting soft in your arms.

'I'll send word, Ma, when I get there.'

'Do,' she says.

'It'll be night before I do.'

'I know,' she says. 'The journey's long.'

Eugene takes the suitcase and you follow him outside. The cherry trees are bending. The stronger the wind, the stronger the tree. The sheep dogs follow you. You walk on, past the flower beds, the pear trees, on out towards the car. The Cortina is parked under the chestnut's shade. You can smell the wild mint beside the diesel tank. Eugene turns the engine and tries to make some joke, starts down the avenue. You look again at your handbag, your ticket, the passport. You will get there, you tell yourself. They will meet you.

Eugene stops in the avenue before the gates.

'Da gave you nothing, sure he didn't?'

'What?'

'I know he didn't. You needn't let on.'

'It doesn't matter.'

'All I have is a twenty-pound note. I can send you money later on.'

'It doesn't matter.'

'Do you think it would be safe to send money in the post?'

It is a startling question, stupid. You look at the gates, at the woods beyond.

'Safe?'

'Yeah.'

'Yes,' you say you think it will.

You get out and open the gates. He drives through, stops to wait for you. As you put the wire on, the filly trots down to the edge of the field, leans up against the fence, and whinnies. She's a red chestnut with one white stocking. You sold her to buy your ticket but she will not be collected until tomorrow. That was the arrangement. You watch her and turn away but it's impossible not to look back. Your eyes follow the gravel road, the strip of green between the tracks, on up to the granite post left there from Protestant days and, past it, your mother who has come out to see the last of you. She waves a cowardly little wave, and you wonder if she will ever forgive you for leaving her there with her husband.

– Прямо от сердца оторвал, – говорит она. – Родная дочка, последняя, едет в Америку, а он даже с кровати не встанет. За какого я уroda пошла!

– Готова? – спрашивает Юджин. – Пора отправляться.

Обнимаешь маму. Сама не знаешь, почему. Она меняется от этого. Чувствуешь, как смягчается у тебя в руках.

– Я тебе сообщу, ма, как долетела.

– Сообщи, – говорит она.

– Но здесь будет уже ночь.

– Знаю, – говорит она. – Путь неблизкий.

Юджин берет чемодан, выходишь за ним следом. Вишневые деревья наклонены. Сильнее ветер – крепче древесина. Овчарки бегут за тобой. Идешь мимо цветочных клумб, мимо груш – вперед, к машине. «Форд-кортина» стоит в тени под каштаном. У цистерны для дизельного топлива пахнет мятой. Юджин заводит мотор, пытается пошутить, вырывает на подъездную дорожку. Опять заглядываешь в сумочку, проверяешь билет, паспорт. Говоришь себе, что все будет в порядке. Долетишь, встретят.

Юджин останавливается на дорожке перед воротами.

– Папа ничего тебе не дал, конечно.

– Что?

– Не дал, не дал, я знаю. Можешь не притворяться.

– Не имеет значения.

– У меня только двадцать фунтов. Я потом тебе еще пошлю.

– Не имеет значения.

– Как ты думаешь, если я отправлю деньги в письме, не украдут?

Поразительно глупый вопрос. Смотришь на ворота, на лес за ними.

– В письме?

– Да.

– Думаю, не украдут, – говоришь ты.

Выходишь открыть ворота. Он проезжает, останавливается, ждет тебя. Когда снова накидываешь петлю, лошадка подбегает к краю поля, налегает на ограду, негромко ржет. Она гнедой масти, в одном белом носочке. Ты продала ее, чтобы купить билет, но ее заберут только завтра. Так договорились. Глядишь на нее и отворачиваешься, но невозможно опять не посмотреть. Взгляд скользит вдоль гравийной дороги с полоской травы посередине, упирается в гранитный столб, сохранившийся с протестантских времен, а за ним стоит мама: захотела увидеть, как ты уезжаешь. Машет, но взмах слабенький, малодушный, и непонятно, простит ли она тебя когда-нибудь за то, что уехала, оставила ее с мужем.

On down the avenue, the Rudds are already in the meadows. There's a shot from an engine as something starts, a bright clap of laughter. You pass Barna Cross where you used to catch the bus to the Community School. Towards the end, you hardly bothered going. You simply sat in the wood under the trees all day or, if it was raining, you found a hayshed. Sometimes you read the books your sisters left behind. Sometimes you fell asleep. Once a man came into his hayshed and found you there. You kept your eyes closed. He stood there for a long time and then he went away.

'There's something you should know,' Eugene says.

'Oh?'

'I'm not staying.'

'What do you mean?'

'I'm giving up the land. They can keep it.'

'What?'

'Can you see me living there with them until the end of their days? Could you see me bringing a woman in? What woman could stand it? I'd have no life.'

'But what about all the work you've done, all that time?'

'I don't care about any of that,' he says. 'All that is over.'

'Where will you go?'

'I don't know. I'll rent some place.'

'Where?'

'I don't know yet. I was waiting until you left. I didn't think any further.'

'You didn't stay on my account?'

He slows the car and looks over. 'I did,' he says. 'But I wasn't much use, was I, Sis?'

It is the first time anyone has ever mentioned it. It feels like a terrible thing, being said.

'You couldn't be there all the time.'

'No' he says. 'I suppose I couldn't.'

Between Baltinglass and Blessington the road winds. You remember this part of the road. You came this way for the All Ireland finals. Your father had a sister in Tallaght he could stay with, a hard woman who made great tarts and left a chain of smoke. Boggy fields, bad land surround this road, and a few ponies grazing. As a child, you thought this was the West of Ireland. It used to make the adults laugh, to hear you say it. And now you suddenly remember one good thing about your father. It was before you had begun to go into his room. He had gone into the village and stopped at the garage for petrol. The girl at the pumps came up to him and told him she was the brightest girl in the class, the best at every subject, until you came along. He'd come back from the village and repeated this, and he was proud because you were brighter than the Protestant's daughter.

А там, впереди, Радды уже вышли на луг. Стреляет запущенный двигатель, звучит бодрый смех. Проезжаем Барна-Кросс, где садилась в автобус, чтобы ездить в местную школу. Ближе к концу, правда, особо не трудилась посещать. Просто просиживала весь день в лесу под деревьями или, если шел дождь, находила сеновал. Иногда читала книжки, оставшиеся после сестер. Иногда засыпала. Однажды тебя увидел, войдя в сарай, какой-то мужчина. Ты не открывала глаз. Он довольно долго там простоял, потом ушел.

– Хочу тебе кое-что сказать, – говорит Юджин.

– Скажи.

– Я тут надолго не задержусь.

– В смысле?

– Я отказываюсь от земли. Оставляю им все к чертовой матери.

– Да ты что!

– Ты можешь себе представить, что я до конца их дней буду тут с ними жить?

Что приведу сюда жену? Какая женщина это вытерпит? Тут мне жизни не будет.

– Но сколько ты труда вложил, сколько времени потратил!

– Меня это не волнует, – говорит он. – Все это уже прошлые дела.

– И куда же ты отправишься?

– Не знаю. Сниму где-нибудь жильё.

– Где?

– Не знаю еще. Я ждал, пока ты уедешь. Наперед не продумывал.

– Ты что, из-за меня тянул с отъездом?

Он сбавляет скорость и смотрит на меня.

– Из-за тебя, – говорит он. – Хотя пользы от меня было не так уж и много, правда, сестренка?

Первый раз об этом кто-то говорит вслух. Когда сказано, переживаешь это как самый настоящий ужас.

– Ты не мог быть на месте все время.

– Нет, – соглашается он. – Этого я не мог.

Между Балтинглассом и Блессингтоном дорога извилистая. Этот участок помнишь по поездкам в Дублин на финальные матчи. Ночевали в Талла у сестры отца, суровой женщины, которая пекла огромные пироги и курила как паровоз. Дорога идет через заболоченные поля, через плохие земли, где лишь изредка видны пасущиеся пони. В детстве ты думала, что это и есть ирландский Запад. Когда ты так говорила, взрослые смеялись. И вдруг приходит на ум одно хорошее воспоминание про отца. Это было до того, как ты начала ходить к нему в комнату. Он поехал в деревню и остановился у гаража заправиться бензином. Девочка на колонке подошла к нему и сказала, что была лучшей ученицей в классе, самой сильной по всем предметам, пока не появилась ты. Вернувшись из деревни, он рассказал об этом с гордостью: ты оказалась умней, чем дочка протестанта.

Close to the airport, planes appear in the sky. Eugene parks the car and helps you find the desk. Neither one of you knows exactly what to do. They look at your passport, take your suitcase and tell you where to go. You step onto moving stairs that frighten you. There's a coffee shop where Eugene tries to make you eat a fry but you don't want to eat or stay and keep him company.

Your brother embraces you. You have never been embraced this way. When his stubble grazes your face, you pull back.

'I'm sorry,' he says.

'It's all right.'

'Goodbye, Sis.'

'Goodbye, Eugene. Take care.'

'Watch out for pickpockets in New York.'

You cannot answer.

'Write,' he says quickly. 'Don't forget to write.'

'I won't. Don't worry.'

You follow passengers through a queue and leave him behind. He will not go back for the fry; he hasn't the time. You did not have to deliver the message. You know he will put his boot down, be home before noon, have the meadows knocked long before dark. After that there will be corn to cut. Already the winter barley's turning. September will bring more work, old duties to the land. Sheds to clean out, cattle to test, lime to spread, dung. You know he will never leave the fields.

A stranger asks for your handbag, and you give it to him. You pass through a frame that has no door and your handbag is returned to you. On the other side, the lights are bright. There's the smell of perfume and roasted coffee beans, expensive things. You make out bottles of tanning lotion, a rack of dark glasses. It is all getting hazy but you keep on going, because you must, past the T-shirts and the duty-free towards the gate. When you find it, there is hardly anyone there but you know this is the place. You look for another door, make out part of a woman's body. You push it, and it opens. You pass bright hand-basins, mirrors. Someone asks are you all right - such a stupid question - but you do not cry until you have opened and closed another door, until you have safely locked yourself inside your stall.

Вблизи аэропорта в небе начинают появляться самолеты. Юджин припарковывает машину и помогает тебе найти стойку регистрации. Ни он, ни ты толком не знаете, что делать. У тебя проверяют паспорт, забирают чемодан и говорят, куда идти дальше. Становишься на движущуюся лестницу, она тебя пугает. Дальше там кафе, Юджин пытается уговорить тебя перекусить, но ты не хочешь ни есть, ни оставаться в его обществе.

Брат обнимает тебя. Раньше тебя никогда так не обнимали. Щетина царапает лицо, и ты отстраняешься.

– Извини, – говорит он.

– Ничего страшного.

– Пока, сестренка.

– Пока, Юджин. Будь здоров.

– Берегись карманников там, в Нью-Йорке.

Ты не в силах ответить.

– Пиши, – торопливо говорит он. – Не забывай писать.

– Не забуду. Не беспокойся.

Движешься за пассажирами, он остается сзади. Он не пойдет в кафе перекусывать: нет времени. В том, чтобы ты передала ему поручение, не было нужды. Ты знаешь, что он даст газу, вернется домой до полудня и докосит луга задолго до темноты. Дальше – уборка кукурузы. Уже поспевают озимый ячмень. Сентябрь – новые труды, земля год за годом требует своего. Чистить сараи, проверять скот, вносить в почву известь, навоз. Ты знаешь, что Юджин никогда не покинет ферму.

Незнакомый человек требует у тебя сумочку, и ты отдаешь. Проходишь через дверную раму без двери, сумочку возвращают. На той стороне все ярко, много ламп. Пахнет духами, свежееобжаренным кофе – дорогими вещами. Распознаешь баночки с кремами для загара, видишь стойку с темными очками. В глазах мутится, но идешь дальше, потому что так надо, мимо футболок, мимо дьюти-фри, к выходу на посадку. Когда находишь его, там почти никого нет, но ты знаешь, что нашла правильно. Ищешь другую дверь, различаешь на ней женскую фигурку. Толкаешь, и дверь открывается. Проходишь мимо блестящих умывальников, зеркал. Кто-то спрашивает, все ли с тобой в порядке, – глупейший вопрос, – но ты не плачешь, пока не открыла и не закрыла еще одну дверь, пока надежно не заперлась в своей кабинке.

ATLANTIC CITY
(from THERE ARE LITTLE KINGDOMS)

Kevin Barry

A July evening, after a tar-melter of a day, and Broad Street was quiet and muffled with summer, the entire town was dozy with summer, and even as the summer peaked so it began to fade. Dogs didn't know what had hit them. They walked around the place with their tongues hanging out and their eyes rolling and they lapped forlornly at the drains. The old were anxious, too: they twitched the curtains to look to the hills, and flapped themselves with copies of the RTE Guide to make a parlour breeze. Later, after dark, the bars would be giddy with lager drinkers, but it was early yet, and Broad Street was bare and peaceful in the blue evening.

The youth of Broad Street and its surrounds had convened in a breeze-block arcade tacked onto Moloney's Garage. This had been one of Moloney's sharper moves. He'd taken an old shed that he'd used for a store room, it was maybe forty foot long and half as wide, and he'd installed there a pool table, three video games, a wall-mounted jukebox and a pinball machine. To add a note of local pride, he'd painted the walls in the county colours. It wasn't much of an arcade, with just the clack and nervous roll of the pool balls, and the insipid bleats of Donkey Kong and Defender. There was high anxious talk about girls and handjobs and who had cigarettes, and there was talk about cars and motorbikes. It wasn't much at all but it was the only show in town and this evening, a dozen habitués had gathered there, all boys, from pre-pubescents through to late teens, and there was desperation to make this a different kind of night, a night to sustain them through the long winter. But so far it was the same old routine, with Donkey Kong and Defender, and winner-stays-on at the pool table, and James was always the winner, and he always stayed on. The pinball machine lit up and crackled to salute a good score. Its theme was the criminal scene of Atlantic City, and the illustration showed a black detective, with a heavy moustache, patrolling in a red sports car, and whenever the day's hi-score was achieved, the detective's eyes lit up and he spoke out, in a deep-voiced, downtown drawl.

He said: 'Atlantic City. Feel The Force!'

This was James's cue to leave the pool table and approach the pinball machine. At nineteen, he was the oldest of the habitués, and certainly the biggest. Not fat so much as massive, the width of a small van across the shoulders, and he moved noiselessly, as though on castors, and the flesh swung and rolled with him, there was no little grace to it, and he considered the breathless, blushing youngster who'd achieved a new hi-score on Atlantic City, and he considered the score, and he said:

АТЛАНТИК-СИТИ
(из сборника «ЕСТЬ МАЛЕНЬКИЕ ЦАРСТВА»)

Кевин Барри

Перевод В. Бабкова

Июльским вечером после асфальтоплавильного дня Брод-стрит была тиха и придушена летом; весь город обессилел от лета, которое как раз переваливалось через свой пик. Собаки не понимали, чем их пришибло. Они бродили по улицам, вывесив языки и выпучив глаза, и уныло лакали из канав. Старики тоже маялись: они шевелили занавески, чтобы взглянуть на холмы, и обмахивались телепрограммой, сооружая себе личный ветерок. Ближе к ночи бары наполнялись гомоном любителей пива, но пока было еще рано и Брод-стрит лежала в синих сумерках мирная и безлюдная.

Молодежь с Брод-стрит и ее окрестностей собралась в игровом зале, приткнувшемся к гаражу Молоуни. Как-то у Молоуни случилось озарение, он взял старую шлакобетонную пристройку, которую использовал под склад, – она была примерно футов сорока в длину и вдвое меньше в ширину, – и поставил там стол для пула и три автомата с видеоиграми, пинбольный автомат, а в самом углу еще и музыкальный. Поддавшись патриотическому импульсу, он выкрасил стены в цвета графства. Заведение получилось не ахти, с нервным перестуком бильярдных шаров да скучным бляеньем «Донки Конга» и «Дефендера». Ребята перебрасывались шуточками насчет девчонок и онанизма, в которых звенела озабоченность, стреляли друг у дружки сигареты и обсуждали тачки с мотоциклами. Да, не бог весть что – но больше в городе некуда было податься, так что сегодня вечером здесь сошлось с десятков постоянных посетителей, мальчишек от препубертатного до почти двадцатилетнего возраста, и они отчаянно старались превратить этот вечер в особенный, чтобы хоть как-то взбодриться перед долгой зимовкой. Но пока все шло как обычно, под звуковое сопровождение «Донки конга» и «Дефендера», и выигравший в пул оставался у стола, а поскольку выигрывал всегда Джеймс, то он всегда там и оставался. Пинбольный автомат зажигался и потрескивал, когда на нем набирали достаточно много очков. Он изображал преступный мир Атлантик-сити; на картинке был усатый негр-детектив, патрулирующий улицы в красном спортивном автомобиле, и когда кто-нибудь ставил рекордный на сегодня счет, глаза детектива загорались и он говорил протяжным басом:

– Атлантик-сити. Закон – наша сила!

Услышав это, Джеймс оставлял бильярдный стол и подходил к пинбольному автомату. В свои девятнадцать он был самым старшим из постоянных и определенно самым крупным. Не столько толстый, сколько массивный, с небольшой фургон в плечах, он двигался бесшумно, точно на роликах, грациозно покачиваясь и колыхаясь всем телом; смерив взглядом затаившего дух, зарумянившегося пацана, нового чемпиона по Атлантик-сити, он проверял его рекорд и говорил:

‘Handy. Handy alright.’

With a long-suffering sigh he reached deep into the pocket of his jeans and took out the necessary coin and inserted it in the slot. The silver balls slapped free and he pulled the spring-release to send the first of them on its way, and it bounced and pinged and rebounded around the nooks and contours of the game, around the boardwalks and the neon boulevards, and wordlessly, the habituées of the arcade swivelled their attention from the pool to the pinball, for the magic had shifted to a new discipline, and cigarette smoke hung blue in the air, and it twisted as they turned. It was a matter of pride to James that he wouldn’t let even one of the silver balls drop between the flippers to the dead-ball zone, and he worked the flippers with quick rhythmic slaps from his fingers and palms — an expert — and his score rolled onwards and upwards. The habituées were hypnotised by the ratcheting numbers, and James knew precisely when he’d made the day’s hi-score and he drawled it deep, in time with the black detective:

‘Atlantic City. Feel The Force!’

Then, with the silver ball still pinging and rebounding, and the score climbing still higher, his routine was to become Stevie Wonder. He closed his eyes and clamped on a delirious smile and rocked his head wildly from side to side, and he sang:

‘Happy Birthday... Happy Birthday to ya... Happy Biiiiirthday...’

And the arcade rumbled with the usual low laughter, and as James sang the blind star’s signature tune and rocked his head on his huge shoulders, beaming blindly to the ceiling, he let the flippers miss the first of the silver balls, and he released the second and let that drop too, and then, the third, and all the while he maintained the delirium of a blind ecstatic. Then he returned to the pool table, took up his cue, and said:

‘Right so. Where am I here?’

‘You’re on the reds, Jamesie.’

Beyond the open doors of the arcade, Broad Street revelled in the unexpected languor of evening heat. Broad Street didn’t know itself. The evening was moving to its close, quicker now as the summer aged, but there was heat in it still. There was scant traffic. The hills above the town darkened with the shadows of approaching night. Moloney sat in his kiosk, on the forecourt of the garage, by the pumps, and he cursed the championship reports in the weekly paper. The lying bastards hadn’t seen the same match he’d seen. They were making excuses for the county side. He hadn’t seen a county side as weak in years. There were fellas with weight on them. It was a disgrace. There were fellas on the county side who’d spent the winter drinking. Where, Moloney asked the walls of his kiosk, oh where was the dedication? There were no answers, and certainly none outside on Broad Street.

– Ловок! Ничего не скажешь!

Потом с долгим страдальческим вздохом лез глубоко в карман джинсов, доставал необходимую монетку и опускал в щель. Серебристые шарики высыпались на свободу, и он щелкал пружинкой, посылая в дорогу первый из них, и шарик начинал со стуком и звяканьем скакать по рельефу игры, среди тротуаров и неоновых бульваров, и присутствующие молчаливо переключали внимание с бильярда на пинбол, поскольку чары теперь исходили оттуда, и синий сигаретный дым висел в воздухе, закручиваясь, когда они поворачивались. Для Джеймса было делом чести проследить за тем, чтобы ни один из серебристых шариков не свалился между язычками в мертвую зону, и он быстро, ритмично перекидывал рычажки управления пальцами и ладонями – настоящий эксперт, – и его счет рос и рос. Ребята заворожено смотрели, как меняются цифры, и Джеймс точно знал, когда будет побит дневной рекорд, и враспяжку гундосил в такт с негром-детективом:

– Атлантик-сити. Закон – наша сила!

Потом, когда очередной шарик еще скакал и звенел, все увеличивая счет, Джеймс обычно становился Стиви Уандером: он закрывал глаза, приклеивал на лицо восторженную улыбку и пел, мотая головой из стороны в сторону:

– С днем рожденья... С днем рожденья тебя... С днем рожде-е-е-енья...

И по залу прокатывался привычный смех, а Джеймс, распевая фирменную песенку слепой звезды, раскачивая головой на огромных плечах и незряче улыбаясь в потолок, позволял язычкам упустить первый серебристый шарик, а потом выстреливал вторым и упускал его тоже, а потом и третий, все продолжая корчиться в слепом экстазе. Потом он возвращался к бильярдному столу, брал кий и говорил:

– Ну вот. На чем я остановился?

– На красных, Джеймси.

А за открытыми дверьми игрового зала Брод-стрит томилась в непривычной неге вечерней жары. Брод-стрит не узнавала себя. Вечер клонился к завершению – уже быстрее, поскольку и лето шло на убыль, – но еще дышал зноем. Машин было мало. На холмах за городом лежала тень наступающей ночи. Молоуни сидел в своей будке перед гаражом, у бензоколонок, и ругал спортивные отчеты в еженедельной газете. Эти брехуны смотрели какой-то другой матч, не тот, что видел он. Нашли оправдание местной команде. Но он не помнил, чтобы за последние годы она хоть раз играла так же плохо. Игроки еле двигались – накопили жирку в межсезонье. Позорище. А кое-кто еще и пил всю зиму. Где у них чувство долга, спрашивал Молоуни у стен будки, где? Но ответить ему не мог никто – ни тут, ни снаружи, на пустынной Брод-стрит.

James chalked his cue. He performed this action with priestly nuance, a sense of ritual. He allowed a particular amount of chalk onto the tip's head, blew off the excess dust, and then, with an air of dainty finesse, surprising in a young man the width of a van, he chalked the curved sides of the tip too. A small fat pink tongue emerged from between his lips as he performed the task. It was a sign of concentration, for it was a knacky business to get it right. He wanted no moisture whatsoever in the vicinity of the cue's tip. Not on a night so clammy as this, when the arcade was fuggy with the sweat and vapours of teenagers in summer.

'So listen, Carmody,' he said. 'Are you looking at me with a straight face on you and telling me she's not ridin'?'

'All I'm saying is I don't think our friend has been next nor near. Our friend hasn't been within a million miles.'

James closed his eyes, briefly, and nodded his head, slowly. This was sombre acknowledgement of information received. His manner, as he leaned in over the pool table, was proper and studious. The great mass of his belly he arranged carefully, and he peeked beneath his chin to ensure that it was not interfering with play and thus causing a foul — if it was, he'd be the first to call it — and he formed a careful bridge for the cue between thumb and forefinger of the left hand, and he sized up a long red for the bottom left corner.

'I'm not saying for a minute she'd be an auld slut,' he said. 'I'm not saying that at all. All I'm saying is she'd be gamey. All I'm sayin' is if you could get her going at all then she'd really go for you. Do you know what I mean, Carm? She'd be like...'

His gaze drifted out to Broad Street, as he sought the precise image.

'She'd be like a little motorbike.'

The low murmur of laughter rippled again around the table's edges. Another kid was having a go at Atlantic City, there was an amount of interest in Defender, somewhat less in Donkey Kong, but there was no contesting the focus of attention. Outside, at a little past nine, the evening had gone into tawn, was in its dream-time, with the sky velvet, with the air still warm, with the shadows taking on the precise tone of the sky's glow. As he prepared to let the cue slide, James tapped the faded baize three times with the middle finger of his bridge hand, a sportsman's tic, and with his right arm working from the elbow as a smooth piston, he made the shot. He sent the white down the table onto the red and its kiss sent the red slowly for the bottom left, and the left-hand side he had applied to the cue ball, an indescribable delicacy, caused it to drag and spin back towards the centre of the table, where it would be ideally in place for the next red he had in mind. The object red still rolled, slowly, and then it dropped into the bottom left pocket, and the cue ball's positioning was perfect, and his opponent, Carmody, tapped the butt of his cue three times on the concrete floor in stony-faced regard. And the usual hymn, the usual evensong, was sung:

Джеймс помелил кий. Все его действия были исполнены чувства собственного достоинства, как у священника на богослужении. Нанеся на наклейку некоторое количество мела, он сдул лишний, а затем с утонченным изяществом, неожиданным в парне шириной с фургон, помелил еще и ее округлые края. Когда он возился с наклейкой, между его губами показался маленький, толстый розовый язык. Это говорило о концентрации: такое важное дело не терпит расхлябанности. Кончик кия должен быть абсолютно и категорически сух, а этого нелегко добиться жарким летним вечером, когда люди вокруг потеют и воздух в зале до предела насыщен человеческими испарениями.

– Слушай, Кармоди, – сказал он. – Так ты с полной ответственностью заявляешь мне, что она крутит динамо?

– Я говорю только, что нашему другу явно ничего не светило. Никаких перспектив, ни одного шанса.

Джеймс на мгновение прикрыл глаза и неторопливо кивнул. Это было торжественное подтверждение того, что информация получена. Затем со всем тщанием, как и положено, склонился над бильярдным столом. Осторожно уместил над ним свой массивный живот, покосился вниз, чтобы проверить, не дотронулся ли он до какого-нибудь шара, потому что в таком случае был бы фол – и он бы первый это признал, – после чего аккуратно поставил для кия мост из большого и указательного пальцев левой руки и начал выцеливать непростой красный в ближний левый угол.

– Я совершенно не утверждаю, что она давалка, – сказал он. – У меня и в мыслях этого нет. Я говорю только, что она с огоньком. Я говорю, что если ты вообще сможешь ее раскрутить, она заведется дай бог. Понимаешь, о чем я, Карм? Она будет как... – он задумался, подыскивая точное сравнение, и его взгляд невольно упал на открытую дверь, за которой лежала Брод-стрит. – Она будет как маленький мотоцикл.

В районе стола снова пророкотали смешки. Кто-то из мальчишек снова пытал счастья в Атлантик-сити, некоторый интерес вызывал «Дефендер», чуть меньший – «Донки конг», но главный фокус внимания в зале оставался вне конкуренции. Перевалило за девять, и вечер снаружи закоричневел, стал мягким, как сновидение: бархатное небо, еще разлитое повсюду тепло, тени цвета закатного мрения. Готовясь отпустить кий вперед, Джеймс трижды постучал по вытертому сукну средним пальцем руки, из которой был сложен мост, – нервный тик спортсмена, – а потом мягко ударил правой, двинув ее от локтя ровно, как идеально пригнанный поршень. После контакта с белым красный шар медленно покатился в угловую лузу, а биток благодаря левому винту – неопишимо изящный прием – затормозил и вернулся в центр стола, заняв идеальное положение для удара по следующему намеченному красному. Прицельный шар еще продолжал медленно катиться, потом упал в лузу, и биток встал безупречно, и противник Джеймса, Кармоди, в знак сдержанного восхищения трижды пристукнул турняком своего кия по каменному полу. И прозвучал обычный панегирик, обычная вечерняя песнь:

'Shot, James.'

'Shot, Jamesie.'

'Shot.'

'Shot, boy.'

The hymn was ignored, was disdained. He leaned for a tap-in red to the middle right, its ease a result of his positional play, and he made it without fuss. A lesser player would be inclined to ram in the easier pots with showy force and venom, but always James played the game quietly, he would roll his reds gently home rather than slam them, he would apply no more force than was needed, and for this reason it was exquisite to watch him play, and the arcade was hushed in the presence of his talent.

Just then, the air changed: a small troop of girls arrived in, a battalion of three. They had vinegar in them and they roved their dangerous eyes around the habituées and they were a carnival of cheap perfume on young skin and whatever summer was they'd trapped its essence and fizzed with it. The habituées developed deeper slouches, and their heads went shyly down, and they moved back into the shadows if they could, but their eyes were uncontrollable and darted up insanely for an eyeful of suntanned girl and they couldn't but wince from the delirious pain of it. All the boys became awkward like this, and thick-tongued, all except James. He laid the cue across the table, rubbed his meaty hands together, straightened his shoulders, closed his eyes, shook his head in wonderment and he said:

'Ladies? I'll say one thing now for nothing. I've seen ye lookin' well in yere time but never as well as ye're lookin' tonight.'

It was the girls' turn to be shy. His hungry gaze asked severe questions of their confidence and inside they seethed at being reduced to these giggles, this nudging. They went and staked out the ground around the wall-mounted jukebox, it was their acknowledged terrain, and they hummed and hawed over the selections and James strode across the floor, searched for another coin in the pocket of his big jeans as he moved, and with a polite gesture of the hand moved the girls back a little from the jukebox and put the coin in the slot and selected the song that was currently at the top of the charts. He took the cue from the table to use as a microphone and he launched powerfully into song as 'Baby Jane' by Rod Stewart struck up on the tinny speakers, and he planted his feet wide on the floor, rock star fashion, and he had all the required shimmies of hip and flicks of hair, and laughter took hold of the arcade, again, and everybody was relaxed and easy again.

A farm truck pulled up on the forecourt outside, and dispensed a farmer, and Moloney shrugged out of his kiosk and nodded curtly, and received a curt nod in payment, and Moloney crossed his arms and leaned back against the pumps.

'That was some messin' below in Clancy Park on Sunday,' said Moloney.

'Shocking,' said the farmer.

'There're fellas should be shot,' said Moloney.

- Ай, молодца.
- Молодца, Джеймси.
- Супер.
- Красавец.

Похвалы были пропущены мимо ушей как не стоящие внимания. Джеймс наклонился, чтобы столкнуть красный в правую среднюю – легкий удар благодаря предыдущему точному выходу, – и сделал это без всякой суеты. Игрок поплосше стал бы загонять простые шары яростно, с показной удалью, но Джеймс всегда сохранял сдержанность и предпочитал тихо скатывать шары в лузу, а не забивать с треском; он вкладывал в каждый удар не больше силы, чем требовалось, и оттого наблюдать за его игрой было сущим наслаждением, и все зрители почтительно затихали, преклоняясь перед его талантом.

В этот миг атмосфера в зале изменилась: на пороге возник маленький отряд девушек, боевая единица из трех человек. В них был задор, они вели легкую пристрелку взглядами, они внесли с собой карнавальную пестроту дешевых духов на молодой коже и, какой бы ни была самая суть лета, они ухватили ее и искрились ею. Ребята сгорбились еще больше, понурили головы, по возможности подались дальше в тень, но невольно метали на загорелых девиц отчаянные взоры, вздрагивая от пьянящей муки этого зрелища. Всех мальчишек обуяли смятение и немота, всех – кроме Джеймса. Он положил кий поперек стола, потер мясистые ладони, расправил плечи, прикрыл глаза, изумленно покачал головой и сказал:

- Мадмуазели? Я вам вот что скажу, бесплатно. Вы и раньше выглядели на все сто, но чтоб так ослепительно, как сегодня, – этого я что-то не припомню.

Теперь настал черед робеть девушкам. Его алчный взгляд подвергал их уверенность в себе серьезному испытанию, и в душе они негодовали на то, что их низвели до этого хихиканья, этого подталкивания локтями. Они прошли в уголок и заняли территорию у музыкального автомата, свою законную, и начали шушукаться насчет выбора, и Джеймс пересек зал, по дороге выуживая из своих больших джинсов очередную монетку, и вежливым жестом попросил девушек чуть подвинуться, и опустил монетку в щель, и выбрал песню, которая в последнее время возглавляла хит-парад. Потом взял со стола кий, поднес его к губам вместо микрофона и грянул «Бэби Джейн» одновременно с Родом Стюартом, голос которого мощно полился из хлипких динамиков, и широко расставил на полу ноги, как настоящая рок-звезда, и принялся карикатурно подрагивать тазом и откидывать со лба волосы, и в зале снова раздался смех, и всем опять стало легко и свободно.

На гаражный двор въехал фермерский грузовичок, с него спешился фермер, и Молоуни вылез из будки, коротко кивнул ему и получил короткий кивок в ответ, после чего скрестил руки на груди и прислонился к бензоколонке.

- В воскресенье там в центре, в Клэнси-парке, была стыдобища, – сказал Молоуни.

- Хуже некуда, – сказал фермер.
- Перестрелять бы их всех, – сказал Молоуни.

'Don't be talking to me,' agreed the farmer.

'You could put stones in jerseys and you'd get more out of them.'

'You nearly could.'

'But listen to me, did you have any joy with them creatures above?'

The farmer looked to the velvet sky, and he considered the vagaries of life, chance, and sheep management.

'There's no getting them down off that blasted hill,' he said. 'I'm going to have to come up with a new tactic.'

And Broad Street was on fire. The last of the evening gave out in a show of dying golds and reds. The street lamps came on. The blue flicker of television screens could be seen behind terrace windows. The summer night announced itself, with its own starlit energies. It brought temptation, yearning and ache, because these are the summer things.

James slotted a straight red into the top left pocket, and he applied top spin to the cue ball so that it rolled onto the top cushion and allowed him to line up the last of the reds. This would be tricky, because great precision was required when the cushions came into play, and he lit a cigarette to consider it. Carmody was his opponent, again, and he was all but beaten anyway, Carmody was beaten in the mind even before they began to play, but all the same James liked to win stylishly and well, he liked to make little gasps escape the habitués when he achieved the unlikely shots. He paused now to draw attention to the table before he attempted the difficult red.

'You're putting it up to me tonight, Carm,' he said. 'I don't know what's after getting into you but you've moved on to a new level of expertise altogether. Are you practicing on the sly?'

The habitués quietened, and moved in closer, because they could sense a put-down in the making. James had gone into the familiar pose, with the head held at a slight incline, and he regarded Carmody down his nose, and there was a thin set to the mouth, and he expelled air from the nostrils with a powerful snort, and he said:

'You're practicing on the sly in the barn, aren't you? You're like...'

He put the cue down and danced a two-step.

'You're like an auld fanner hitting off to a matchmaking festival. He's had the first bath of the year. He has the hair slicked back with strong tea. He's dragged a comb through his teeth...'

The titters and giggles built nervously, as the habitués waited to see where James would take it.

'...and he's set the hens on automatic. He's worried about the dancing, of course he is, the man has titanium hips, so he's clearin' back the floor of the barn, of an evening, when the working day is done, and he's trying out a shtep.'

And he did a high-kick step in the air, and the laughter rumbled, and built.

- Надо бы, – согласился фермер.
- Одень бревна в футболки, и то проку больше будет.
- Согласен.
- Ну а там на воле – как питомцы ваши, радуют?

Фермер глянул на бархатное небо и поразмыслил о гримасах судьбы, случая и овцеводства.

- Никак их не сгонишь с этого чертова холма, – сказал он. – Надо мне какую-нибудь новую тактику придумать.

А Брод-стрит запылилась. Вечер испустил дух, вспыхнув под конец переливками золота и багрянца. Зажглись уличные фонари. За окнами террас замерцали голубыми телевизионные экраны. Летняя ночь, заряженная собственной звездной энергией, решительно вступила в свои права. Она принесла с собою соблазн, томление и муку, ибо таковы неизменные спутники лета.

Джеймс положил почти прямой красный в дальнюю левую лузу, добавив при этом битку верхний винт, так что он покатился вперед и встал вплотную к дальнему борту, под последний красный. Удар предстоял трудный – шар мог сыграть в губках и не упасть, – и Джеймс закурил сигарету, чтобы спокойно все обдумать. Его соперником снова был Кармоди, и он уже все равно что проиграл, Кармоди проиграл психологически еще до того, как взялся за кий, но Джеймс любил побеждать красиво и стильно, он любил слышать, как зрители невольно ахают, когда он кладет немислимые шары. И теперь он выдержал паузу, чтобы привлечь к столу внимание всех присутствующих.

- Как же с тобой сегодня тяжело, Карм, – сказал он. – Не знаю, что с тобой стряслось, только ты явно поднял игру, ну прямо настоящий мастер. Тренируешься втихаря, что ли?

Ребята затихли и придвинулись поближе, чувствуя, что сейчас Кармоди будет безжалостно высмеян. Джеймс принял привычную позу – чуть откинул голову и посмотрел на противника сверху вниз, сжав губы в тонкую линию, – шумно выдохнул носом, почти фыркнул, и сказал:

- Признайся, ведь тренируешься втихаря в амбаре, а? Ты как...

Он отложил кий и изобразил тустеп.

- Ты как старый фермер, который собирается на вечер знакомств. Вот он первый раз за год помылся. Смочил волосы крепким чаем, чтоб не топорщились. В зубах расческой поковырял...

Ребята еще не понимали, куда клонит Джеймс, но уже начинали понемногу похихикивать.

- ...кур оставил на автомате. Он волнуется, как будет танцевать, да оно и неудивительно, у малого ведь чугунная задница, и вот он расчищает себе место в амбаре после тяжелого трудового дня и начинает пробовать.

И он неуклюже дрыгнул ногой, и вокруг зарокотал смех, который стал нарастать.

‘And he’s saying what I need for myself now is... a nice good little nurse. Do you know the way? A nice little nurse from an ear, nose and throat ward. He’s always maintained a bit of a grá for nurses, because they’d be kind to you, wouldn’t they, of a cold winter’s night, with the big thighs wrapped around your throat?’

The girls gasped and tssked. The habitués shook their heads, embarrassed with mirth. They never knew where to look when James roamed abroad on a course.

‘It’s the way I see it, Carm. You’re practicing on the sly in the barn, like the auld farmer, by the light of a lonesome mooooo-ooooon!’

And as he crooned the word, cowboy-style, he leaned in to attend to his shot: full attention had now been secured for the pool table. He made his bridge, tapped the baize three times with his middle finger, rolled the white along the cushion, it kissed the red, and gave it momentum to move at a slow even pace, and the red yawned for a moment on the lip of the pocket, as though he hadn’t given it enough, but of course he had, and it dropped.

‘Shot, James!’

‘Shot, Jamesie.’

‘Shot boy.’

‘You’re a fucking lunatic, James,’ said Carmody, and tapped the butt of his cue three times on the concrete floor.

‘Sure I know that.’

Moloney put the petrol takings into a tin box, turned off the transistor and locked up the kiosk. He crossed the forecourt, carrying the tin box reverently, and he cursed at the weather. Ten o’clock at night and you were walking around the place in soup. He put his head around the door of the arcade.

‘Ye’ve an hour till I close it up.’

‘Not a bother,’ said James.

‘And keep it down a bit, for Jesus’ sake.’

‘Absolutely,’ said James.

‘An hour,’ said Moloney. ‘D’ye hear me?’

James laid the cue on the table, goose-stepped across the floor, threw his right arm into salute and cried out:

‘Selbstverständlich, mein Kommandant!’

‘And you watch yourself!’

Moloney tried and failed to keep the smile from his face, and he left them to it. This was the signal that the night was truly rolling, and for the more dangerous talk to begin. The younger of the habitués, earlier indulged, would now be pushed to the peripheries. The older ones would draw up schemes of devilment for the small hours. The girls became nervous.

– И он говорит: кто мне нужен, так это... славная маленькая медсестричка. Понимаешь? Славненькая медсестричка из отделения ухо-горло-носа. У него всегда была слабость к сестричкам, потому что они могут тебя пожалеть, верно, в холодную зимнюю ночь, погреть тебе горло большими теплыми ляжками?

Девицы зашикали и зацыкали. Ребята замотали головами в веселом смущении. Порой Джеймса заносило, и тогда они не знали, куда девать глаза.

– Вот как я это себе представляю, Карм. Ты тренируешься втихаря в амбаре, как старый фермер, в лучах одино-о-о-окой луны-ы!

И промурлыкав последние слова, как строчку из песенки, он приготовился к последнему удару; теперь все внимание было сосредоточено на бильярдном столе. Он поставил мост, трижды постучал по сукну средним пальцем, катнул биток вдоль борта, тот стукнулся о красный, сообщив ему медленное ровное движение, и красный на миг задержался над лузой, как будто удар был недостаточно сильным, но это, конечно, оказалось не так, и он упал.

– Ай, молодца.

– Молодца, Джеймси.

– Красавец.

– Ты конченный псих, Джеймс, – сказал Кармоди и три раза пристукнул турняком по бетонному полу.

– А как же.

Молоуни убрал выручку за бензин в жестяную коробку, выключил приемник и запер будку. Он пересек двор, бережно неся коробку и проклиная погоду. Десять вечера, а идешь, будто в супе плывешь. Он сунул голову в пристройку с игровыми автоматами.

– Через час буду закрывать.

– Без проблем, – сказал Джеймс.

– И потише давайте, понятно?

– Так точно, – сказал Джеймс.

– Ровно час, – сказал Молоуни. – Слышали?

Джеймс положил на стол кий, промаршировал по залу, вскинул руку, отдавая честь, и гаркнул:

– Зельбстферштендлхь, майн командант¹!

– А ты смотри у меня!

Молоуни попытался сдержать улыбку, не сумел и отправился восвояси. Это был признак того, что ночь идет правильным курсом, и сигнал к началу более рискованных разговоров. Самым молодым из постоянных, которых прежде терпели, предстояло теперь быть оттесненными на периферию. Старшие готовились приступить к разработке дьявольских полунощных планов. Девицы занервничали.

1 Будет сделано, господин комендант! (нем.)

‘Atlantic City. Feel The Force!’

‘Ah for the love and honour of God,’ said James, who had been lining up the black to continue his evening-long winning streak. He crossed the floor to the pinball, considered the new hi-score, patted his young usurper on the head and said:

‘Knacky. Knacky alright. As a matter of fact, you’ve put it beyond my reach. Let it be known that from this moment forward, the young fella here is the king of the pinball. Give the boy a banana.’

Walking back to the pool table, James suddenly stopped, gasped, and collapsed onto his knees. He clutched at his chest. His face was frozen in a terrible grin, and it became a grimace, and he gasped out the last words...

‘I... leave... every... thing... to... to... to Jamesie!’

The arcade throbbed with laughter. This was one of the most famed routines. It was James’s impression of the heart attack that had killed his father on the kitchen floor.

Though the girls had become shyer, shyness can fold in on itself and be transformed on a summer night: when there is possibility in the air, shyness can say what the hell and trade itself for a brazenness. They fed coins to the jukebox and summoned a couple of slow numbers.

James saw to the black, and allowed his next opponent to step forward and rack for a new game, and he moved his great rolling flesh to the jukebox, and he said:

‘Ladies? Ye’ll have me red in the face now for the want of it. Do ye hear what I’m saying? Is there no such as thing as a bit of mercy? Ye know full well what I’m like when I hear that one. I hear Bonnie Tyler and I go to pieces.’

The younger of the habituées began to drift off, in ones and twos, and those who left early would be furious the next morning, when they learned that they’d missed the great drama of the night. A little before eleven, the squad car rolled into the forecourt of Moloney’s, and Garda Ryan got out, with a face on him like turned milk. He stood on the forecourt and regarded the arcade, and everybody crowded to the door, and he addressed them.

‘There was a windscreen of a car put in below in the square last night,’ he said. ‘Is that news for ye?’

James moved to the front of the habituées, crossed his arms sombrely, and stroked his chin with his forefinger.

‘At what time precisely, Garda Ryan,’ he said, ‘was the mechanically propelled vehicle interfered with?’

‘Watch yourself.’

‘Have you no note made of it, guard?’

‘I won’t warn you again. Believe me! I don’t care who your family is. There was a windscreen put in. That’s a hundred pound damage. There’s been other incidents.

– Атлантик-сити. Закон – наша сила!

– Ох ты ж господи боже ж мой, – сказал Джеймс, который только что вывел биток под черный, собираясь продолжить свою еще ни разу сегодня не прерванную победную серию. Он подошел к пинбольному автомату, глянул на новый рекорд, похлопал малолетнего узурпатора по макушке и сказал:

– Ловко. Потрясающе. Честно сказать, такое мне уже не по силам. С этого момента, мой юный друг, провозглашаю тебя королем пинбола. Возьми с полки пирожок.

Возвращаясь к бильярду, Джеймс вдруг остановился, захрипел и упал на колени. Он схватился за грудь. Его лицо застыло в жуткой ухмылке, потом она перешла в гримасу, и он пробормотал свои последние слова...

– Я... оставляю... все... моему... му... му... Джеймси!

Зал грохнул смехом. Это была одна из самых знаменитых традиционных сценок. Так Джеймс изображал сердечный приступ, убивший на кухне его отца.

Хотя девушки теперь словно бы больше робели, робость в летнюю ночь – это палка о двух концах; когда в воздухе витает запах свободы, робость может плюнуть на все, махнуть рукой и обернуться бесстыдством. Они скармливали музыкальному автомату монетки, извлекая из него нечто лирическое.

Джеймс разобрался с черным, предоставил своему следующему оппоненту собирать шары в треугольник для новой игры, а сам переправил свою колеблющуюся массу к музыкальному автомату и сказал:

– Мадмуазели! Мне очень стыдно, но я больше не выдержу. Вы слышите, что я говорю? Неужто в вас нет ни капельки сострадания? Вы же прекрасно знаете, что со мной творится, когда я слышу это. Я слышу Бонни Тайлер, и у меня внутри все переворачивается.

Самые младшие из постоянных стали понемногу уходить, по одному и по двое, и тем, кто ушел рано, предстояло наутро рвать на себе волосы, ибо они прозевали самый драматический эпизод, гвоздь вечера. Незадолго до одиннадцати к гаражу подкатил патрульный автомобиль и оттуда вылез полицейский Райан с лицом как прокисшее молоко. Он встал во дворе, и устремил взор на игровую пристройку, и все сбились в кучу на пороге, и он обратился к ним.

– Вчера ночью на площади одной машине разбили ветровое стекло, – сказал он. – Вы про это, конечно, в первый раз слышите?

Джеймс выбился в первый ряд, солидно сложил руки на груди и погладил подбородок указательным пальцем.

– Каково точное время, полицейский Райан, – сказал он, – в которое упомянутому вами средству передвижения был нанесен ущерб?

– Ты мне не умничай.

– Неужели вы его не зафиксировали?

– Я дважды повторять не буду. Смотри у меня! Мне без разницы, из какой ты семьи. Ветровое стекло разбито. Это сто фунтов убытка. Были и другие случаи.

There's been nothing but trouble since this place was let open late. I'm marking yere cards for ye now, all of ye. I've eyes in my head and they are wide open. I'm not going to let this messing go on a night longer. Not a single night, d'ye hear it? I'm watching ye.'

Garda Ryan, in shirt sleeves, stepped back into the squad car, and with a flinty gaze he looked over the small group from his rolled-down window, and the more nervous of the habitués stepped back into the gloom, but it could not be left at this, and it wouldn't be, and one of them stepped out onto the forecourt, and everybody held their breath, because it was James. He planted his feet wide, gunslinger style, and mimicked a pair of pistols with his fingers and thumbs, and he drew and aimed at the guard, and he said:

'Atlantic City. Feel The Force!'

There were still tears and peals of laughter when Moloney came back to lock up, and Moloney had a few drinks on him, and he was convinced that he himself was the cause of the merriment, and he became narky.

'Fleck off home out of it!' he cried. 'I'm seriously thinking of closing this place altogether! I'm seriously thinking of calling a halt to the whole bastarin' operation!'

And they set off about the town. The last of the younger ones straggled home with regret, because July nights like this don't come around too often. The older ones caused what trouble they could, even though in a small town it was hard to work out constant variations on trouble, but they tried anyway. The summer night was warm and sweet about them, and repeated assaults were made upon the reputations of the girls. The summer would move on, and fade, there is always the terrible momentum of the year's turning. Exam results would come in. The older of the habitués would begin to make their moves. For one that would move to the city, another would stay in the town, some would take up the older trades, others would try out new paths, and one on a low September evening would swim out too far and drown, and it would be James. Laments and regrets were no use — these were just the quotas and insinuations of Broad Street.

С тех пор, как вы тут начали болтаться допоздна, в городе сплошные неприятности. Последний раз вас предупреждаю, всех до единого. У меня есть глаза, и я их на ваши штучки закрывать не намерен. Я этого безобразия больше ни одной ночи не потерплю. Ни одной ночи, понятно? Я за вами слежу.

Полицейский Райан в форменной рубашке без куртки залез обратно в патрульное авто, окинул маленькую кучку грозным взглядом поверх опущенного стекла, и самые робкие из постоянных отступили назад в полумрак, но дело не могло и не должно было этим кончиться, и один из них шагнул вперед, во двор, и все затаили дыхание, ибо это был Джеймс. Он широко, по ковбойски, расставил ноги, изобразил большими и указательными пальцами пару пистолетов у бедер, вытащил их из воображаемой кобуры, и прицелился в полицейского, и сказал:

– Атлантик-сити. Закон – наша сила!

Кое-кто еще прыскал и утирал слезы, когда Молоуни вернулся закрывать, и Молоуни успел перехватить стаканчик-другой, и решил, что повод для веселья – он сам, и это его рассердило.

– А ну, брысь по домам! – воскликнул он. – Я вам серьезно говорю, вы у меня допрыгаетесь! Я вам серьезно говорю, я эту лавочку прикрою на раз!

И они отправились в город. Последние из младших побрели домой с сожалением, ибо такие июльские ночи выпадают не часто. Старшие нахулиганили сколько смогли – хотя в маленьком городке трудно поддерживать разнообразие по этой части, они очень старались проявить изобретательность. Вокруг была мягкая и ароматная летняя ночь, и репутации девиц подвергались регулярным покушениям. Лету предстояло катиться дальше, тускнея, поскольку смена сезонов жестока и неумолима. Скоро будут объявлены результаты экзаменов. Самые старшие из постоянных начнут принимать решения. Кто-то уедет в большой город, кто-то останется в своем маленьком, кто-то пойдет по стопам родителей, кто-то выберет новые пути, а один смурным сентябрьским вечером заплывет чересчур далеко и утонет, и это будет Джеймс. И тут без толку сетовать и сожалеть, ибо таковы квоты и требования Брод-стрит.

CHILDREN'S LITERATURE

SNAKES' ELBOWS (extract)

Deirdre Madden

1 *The Little Town*

The story I am about to tell you took place in Woodford, a most unremarkable little town — or so it seemed. It had the usual shops and houses and offices, factories and parks and churches. A slow river flowed through the centre, spanned by a series of stout stone bridges and at the edge of the town there was a dark forest. Beyond that again there was a mountain, but it was not particularly high or famous or important or beautiful. Like the town, it was quite unremarkable: it was just a mountain.

Had you asked any of the citizens of Woodford what was special about it, I doubt if any of them would have been able to answer you straight off. There would have been quite a bit of head-scratching and humming and hawing. 'Now let me see,' they'd likely have said. And then they would probably have mentioned the church: not Saint John's, the modern one, but the other one, which was very old. How old? Your average Woodford man or woman probably didn't know. 'Oh, ancient,' they would say if you pressed them. 'Hundreds and hundreds of years old.' It had stained-glass windows that didn't show angels or saints but wild flowers: primroses in one pointed window, violets in another, harebells in another and so on. On a frosty afternoon in February when the light is at its best for looking at such things, they glowed like jewels in the darkness of the church and reminded the people, who were cold and tired at the end of winter, that the Spring would come again soon, bringing real flowers to the fields and to the forest: primroses and violets and harebells.

Of what else would the citizens have spoken? They might have mentioned that in the middle of the main square was an imposing statue of Albert Hawkes, the little town's most famous son. 'Born in Woodford. Died in Glory' it said on the plinth; and generations of children thought that Glory must be the name of the far-off city in which Albert Hawkes had ended his days. But there was, unfortunately, a slight problem: no one had the foggiest idea who Albert Hawkes was and what he had done to merit such a grand statue. Was he a military man who had won a famous victory? Probably not, because then the statue would have shown him in uniform, waving a sword in the air. Perhaps he was a learned man, a professor or even a poet, but then he would have been holding a bronze book in his

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖКИНЫ УШИ (фрагмент)

Дийрдре Мадден

Перевод В. Гольшева

1 Городок

История, которую я сейчас расскажу, произошла в Вудфорде, совершенно непримечательном городке – таким он, по крайней мере, казался. Там были обычные магазины, дома и конторы, заводики, парки и церкви. Через центр протекала спокойная река, перекрытая солидными каменными мостами, а за окраиной начинался темный лес. За лесом – гора, но не особенно высокая, не особенно красивая, ничем не выдающаяся и не знаменитая. Непримечательная, как и город, – просто гора.

Спроси вы кого-нибудь из граждан Вудфорда, что здесь есть особенного, вряд ли он сумеет ответить вам сразу. Он будет чесать в затылке, экать и мекать. И скажет скорее всего: «Надо подумать». Потом, наверное, вспомнит церковь – не новую, Святого Иоанна, а другую, очень старую. Каких времен? Скорее всего, этот ваш гражданин или гражданка ответить не смогут. «Ну, старинная, – скажут они, если будете настаивать на ответе. – Ей не одна сотня лет». В церкви были витражи, но не с ангелами и святыми, а с полевыми цветами: в одном стрельчатом окне первоцветы, в другом фиалки, в третьем колокольчики, и так далее. Морозным февральским днем, когда освещение для них самое выигрышное, эти цветные стекла горели в сумраке церкви, как драгоценные камни, и напоминали людям, замерзшим и уставшим за долгую зиму, что скоро придет Весна и в полях расцветут живые цветы: первоцветы, колокольчики, фиалки.

О чем еще вам сказал бы местный житель? Он мог бы вспомнить, что посреди главной площади стоит внушительная статуя Альберта Хоукса, самого знаменитого гражданина Вудфорда. «Родился в Вудфорде. Умер в Славе», – написано на постаменте, и дети всегда думали, что Слава – это название далекого города, где Альберт Хоукс окончил свои дни. Но была, к сожалению, одна маленькая неясность: никто понятия не имел, кто такой Альберт Хоукс и чем он так отличился, чтобы заслужить эту величественную статую. Военный, одержавший знаменитую победу? Вряд ли – тогда на пьедестале он был бы в мундире и размахивал саблей. Ученый человек – профессор или даже поэт? Но тогда бы он держал в бронзовых

bronze hands. An inventor? Then why wasn't he holding the thing he had invented? Albert Hawkes' statue gave no clues to who he had been. It showed him as a man of medium height with a frock coat and a splendid moustache, leaning on a broken pillar with his chin propped in his right hand. He was gazing off into the middle distance with a slightly puzzled expression. You could have been forgiven for thinking that even he had forgotten who he was, and was trying his best to remember.

The people of Woodford didn't even think of him as Albert Hawkes, and had long since stopped wondering what he had done to be famous. They simply spoke of The Statue and used it as a place to meet before heading along to do something more interesting, such as going to the cinema or to an ice-cream parlour. The Statue was a bus terminus. I hate to have to tell you this, but the odd passing dog used to lift its leg against the plinth and no one thought this an outrage or indeed cared at all. There are many people who spend their lives desperately trying to be famous: they should think about the fate of Albert Hawkes.

The town did have an art gallery but I doubt if anyone would have mentioned it, because unfortunately the paintings in it were not good. Not good at all. In fact they were completely hopeless. They looked as if when they had been painted, the artists had had a bad headache or tummy ache; or perhaps simply their minds had been elsewhere and they had been wondering what was for tea that night or if the postman would bring something interesting.

Anything else? Yes, Woodford Creams! They would certainly have told you about Woodford Creams, which are chocolates with a rose-scented cream-filled centre that are every bit as delicious as they sound, and horribly expensive. They were sold from a shop the size of a large suitcase, by the shy, dreamy woman whose mother had invented the chocolates and who had given her daughter the secret recipe. The people of Woodford bought them as gifts or as treats for themselves. At Christmas time there was always a queue out the door of the shop, down the street, around the corner, sometimes even as far as The Statue. (And if you knew Woodford you would realise that that is a very long way indeed.)

And so already you can see that even though it was a most unremarkable little town, there were things in it that were interesting and delicious and delightful. This is true of every town no matter how dull it may at first appear to be. Of course if you have absolutely no curiosity or imagination whatsoever, even the most exciting city in the world will seem boring to you. But if you do open your eyes wide and look at what is there under your very nose, you will find wonders and marvels even in a completely ordinary place like Woodford.

But wait! How could I possibly have forgotten Jasper? Jasper Jellit was an extravagant and flamboyant millionaire who lived in a flashy great mansion at the edge of town. He threw wild parties and the people of Woodford were completely and utterly fascinated by

руках бронзовую книгу. Изобретатель? Но почему тогда нет у него в руках вещи, которую он изобрел? Статуя никак не помогала понять, кем был Альберт Хоукс. Она изображала человека среднего роста с пышными усами, в сюртуке, облокотившегося на обломок колонны и подпирающего подбородок рукой. Он смотрел куда-то со слегка озадаченным выражением. Простительно было предположить, что он сам забыл, кто он такой, и очень старается вспомнить.

Жители Вудфорда даже не думали о нем как об Альберте Хоуксе и давно перестали гадать, чем он прославился. Называли его просто Статуей и назначали возле нее свидания перед тем, как отправиться в более интересное место, например в кино или в кафе-мороженое. Статуя служила конечной остановкой автобуса. Неприятно вам об этом говорить, но случалось и псу мимоходом задрать ногу на ее пьедестал, и никого это не возмущало и даже не интересовало. Многие люди проводят всю жизнь в отчаянных стараниях прославиться; им стоило бы подумать о судьбе Альберта Хоукса.

Была в городе и картинная галерея, но сомневаюсь, чтобы кто-нибудь о ней упомянул, – к сожалению, хороших картин в ней не было. То есть совсем. По правде сказать, они были никудышные. Как будто, когда их писали, у художников сильно болела голова или живот; а может, они просто думали о чем-то другом – что у них будет вечером на ужин или не принесет ли почтальон что-нибудь интересенькое.

Что еще? Ах да, Вудфордские Кремовые! Вам непременно сказали бы про Вудфордские Кремовые – шоколадки, начиненные кремом с ароматом розы, в точности такие вкусные, как их название, и жутко дорогие. Продавала их в магазинчике размером с большой чемодан застенчивая сонная женщина. Эти конфеты изобрела ее мать и передала секретный рецепт дочери. Жители Вудфорда покупали их в подарок или чтобы себя побаловать. Под Рождество к лавке выстраивалась очередь на улице; очередь заворачивала за угол и тянулась иногда до самой Статуи (если бы вы знали Вудфорд, то поняли бы, что очередь действительно очень длинная).

В общем, вам уже понятно, что Вудфорд хоть и непримечательным был городком, но имел в себе кое-что интересное, вкусное и приятное. То же самое можно сказать о любом городке, каким бы скучным ни казался он на первый взгляд. Конечно, если у вас совсем нет любопытства и воображения, самый увлекательный город в мире покажется вам неинтересным. Но если раскроете глаза пошире и посмотрите на то, что у вас под носом, вы найдете удивительное и чудесное даже в таком обыкновенном месте, как Вудфорд.

Но подождите! Как же это мы забыли про Джаспера? Джаспер Джеллит был забубенный миллионер, любитель пускать пыль в глаза и швыряться деньгами. Он жил в большом щегольском особняке на окраине города. Он закатывал шумные

him. 'Not every town has someone like Jasper living in it,' they'd have said, although the wiser folk would perhaps have pointed out that this was something of a mixed blessing. On the day this story begins, however, it wasn't Jasper they were thinking about. At the church and in the chocolate shop, in the art gallery and among the groups of people standing around The Statue, waiting to meet their friends or to catch a bus, there was tremendous excitement. 'Have you heard?' they said to each other. 'Have you heard the news?' There was one topic of conversation that day and only one, which was this:

Barney Barrington was coming back to live in Woodford.

2 *The Woodford Trumpet*

The people knew this because they had read about it in the Woodford Trumpet, a small, loud newspaper with lots of photographs and great big headlines. It also had a rather odd habit of putting some words in BLOCK CAPITALS, so that it looked like THIS. Perhaps they thought their READERS were too BUSY to read the paper SLOWLY, and in glancing over the main WORDS they would get the general IDEA. Perhaps they thought their EYE-SIGHT was BAD. Perhaps they even thought that their READERS were a bit DIM.

Whatever the reason, the headline that morning read: 'MUSICAL MILLIONAIRE COMES HOME TO WOODFORD!' And then in smaller print it said, 'See pages 2, 3, 4, 5, 6 & 7.' This didn't leave much room for any other news, which was a pity, because lots of important if rather unexciting things were happening at that time.

'After YEARS away,' the paper said on its front page, 'Pianist BARNEY BARRINGTON is coming back to LIVE in WOODFORD. (I'll drop the capitals from here on out if you don't mind. You're probably not BUSY and I'm certain you're not DIM and even if your EYESIGHT is BAD (mine is terrible) I doubt if CAPITALS will HELP.)

'Millionaire Barney, who is even richer than Jasper Jellit, has bought The Oaks and is expected to move in any day now. Child genius Barney left Woodford when he was only five. The piano-playing sprig went on to stun the world with his skill on the ivories. Now, more than sixty years later, he is coming back to live here again. And who can blame him, eh? Good on yer, Barney! Welcome Home!'

Above this there were two large photographs. One showed a frail, rather anxious little child with soft fair hair standing beside an immense black grand piano. 'Nimble-fingered nipper: Barney at six,' the caption read. The other photo showed a frail, rather anxious looking elderly man with soft grey hair, standing beside an immense black grand piano. 'Still packing 'em in' it said below. 'Barney wowing New York last week.'

The rest of the paper was full of pictures and stories about Barney. The Trumpet said that he had never had a home since leaving Woodford, but had spent all his life travelling the world, staying in hotels and giving concerts. They told about the zillions and squillions of records he had sold and of how sometimes there had been punch-ups at the box office

вечеринки, и жители Вудфорда были в совершенном обалдении от этих пиров. «Не в каждом городе найдешь такого человека, как Джаспер», – говорили они, хотя люди порассудительнее заметили бы, пожалуй, что это сомнительный комплимент. Однако в день, когда начинается наша история, думали они не о Джаспере. В церкви и в кондитерской, в картинной галерее и вокруг Статуи, где люди дожидались друзей или автобуса, царило необыкновенное волнение. «Вы слышали новость?» – спрашивали они друг друга. В этот день все разговоры вертелись вокруг одной темы, только одной.

В Вудфорд возвращался Барни Баррингтон.

2 Вудфордская труба

Люди узнали об этом, потому что прочли статью в «Вудфордской трубе», голосистой газетке с множеством фотографий и большущих заголовков. Еще у нее была странная привычка печатать некоторые слова ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, и выглядело это ВОТ ТАК. Может быть, там думали, что ЧИТАТЕЛЯМ НЕКОГДА читать газету МЕДЛЕННО и, взглянув на большие СЛОВА, они ухватят ГЛАВНОЕ. Или же думали, что у читателей ПЛОХО с ГЛАЗАМИ. А может быть, думали, что ЧИТАТЕЛИ немного ТУПЫЕ.

Что бы они там ни думали, заголовок в то утро гласил: «МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОДНОЙ ВУДФОРД!» А ниже более мелким шрифтом: «Смотри на страницах 2, 3, 4, 5, 6 и 7». Так что для других новостей места осталось мало, и это огорчительно, поскольку в то время происходило много интересных, хотя и не таких волнующих событий.

«После многих ЛЕТ странствий, – говорилось на первой странице, – пианист Барни Баррингтон навсегда возвращается в Вудфорд». (С этого места, если не возражаете, я отказываюсь от заглавных букв. Надеюсь, вы не так уж ЗАНЯТЫ, и, полагаю, не ТУПОВАТЫ, и даже если у вас ПЛОХО с ГЛАЗАМИ (у меня – ужасно), я сомневаюсь, что ЗАГЛАВНЫЕ вам ПОМОГУТ.)

«Миллионер Барни, который даже богаче, чем Джаспер Джеллит, купил имение «Дубы» и со дня на день должен приехать. Вундеркинд Барни уехал из Вудфорда в возрасте пяти лет. Мальчуган-пианист отправился изумлять мир резвостью своих пальчиков. Теперь, спустя почти шестьдесят лет, он возвращается, чтобы остаться здесь жить. И кто его в этом упрекнет, а? Молодцом, Барни! Добро пожаловать домой!»

Над этим были две большие фотографии. На одной худенький и довольно нервный ребенок с мягкими золотистыми волосами стоит рядом с огромным черным роялем. И подпись: «Карапуз-виртуоз Барни в шестилетнем возрасте». На другой фотографии рядом с огромным черным роялем стоит худенький, довольно нервный пожилой человек с мягкими седыми волосами. «Наяривает по-прежнему, – гласила подпись. – На прошлой неделе Барни ОГОрошивал Нью-Йорк».

Всю газету заняли фотографии виртуоза и рассказы о нем. «Труба» писала, что с тех пор, как он уехал из Вудфорда, у него не было нормального дома – он разъезжал по свету, жил в гостиницах и давал концерты. Рассказывалось и о мириадах и триллиадах его проданных записей, о потасовках в очередях за билетами на его

when there weren't enough concert tickets to go round. They said how quiet and shy he had been as a child and how he had never changed. There were photos of him in London and Tokyo and Sydney and Paris.

'Snakes' elbows! Richer than me?' Jasper Jellit was sitting up in bed in his ruby silk pyjamas reading the paper and eating a soft-boiled egg with toast soldiers, his Tuesday morning breakfast. He was a picky eater and had a different breakfast brought to him, cooked just so, every day in the week. 'RICHER THAN ME?!!!!'

He shouted so loud that he woke up his two Alsatian dogs, Cannibal and Bruiser, who were snoozing in their basket at the foot of the bed.

'Oh what is it this time?' they thought crossly. 'There's no need to make such a racket.'

Jasper leafed wildly through the paper looking for news about himself. There was always something. The morning after one of his incredible parties there would be pages and pages of photographs in all of which Jasper appeared, and reports in which the guests said how it was the best party they had ever been to in their entire lives and how Jasper was the most wonderful person they had ever met. Often he would pull some stunt just to get attention. One day, for example, he went out and bought up every single Woodford Cream in the shop. It was the most anyone had ever bought at one go and it was all over the Woodford Trumpet the next day. There were far too many for him to eat himself and he fed some of them to Cannibal and Bruiser, even though he knew you should never give chocolate to dogs. He was curious to know how sick it would make them: it made them very sick indeed.

But there was nothing about him in the paper today, nothing at all. Everything was about Barney Barrington.

'What's wrong with him now?' Cannibal wondered.

'He's gone the same colour as his pyjamas,' thought Bruiser.

Jasper threw his paper aside and jumped out of bed, sending the toast soldiers flying. He picked up the phone and rang his butler.

'Come here,' he said. Jasper rarely bothered with details such as saying 'Please' or 'Thank you' or even 'Hello'.

'Come here IMMEDIATELY. You're going to help me to plan the biggest and best, the most incredible and amazing party that Woodford has ever seen.'

Cannibal and Bruiser looked at each other in dismay. 'Oh no!' they thought. 'Oh no. Here we go again.'

Meanwhile, over at The Oaks, Barney Barrington was quietly moving into his new home.

концерты – когда билетов не хватало. О том, каким он был смирным и застенчивым в детстве – и остался таким же до сих пор. Были его фотографии на фоне Лондона и Токио, Сиднея и Парижа.

– Ёжкины уши! Богаче меня? – Джаспер Джеллит, одетый в шелковую рубиновую пижаму, сидел на кровати, читал газету и кушал яичко всмятку, макая длинные тостики в желток. Яичком он завтракал по вторникам. Он был большим привередой, и на каждый день недели ему готовили другой завтрак. – БОГАЧЕ МЕНЯ?!!!!

Он закричал так громко, что разбудил обеих овчарок, Каннибала и Фингала. Они задавали храпака в своей корзине около кровати.

«Ур, что его опять разбирает? – недовольно подумали они. – Вовсе не обязательно так шуметь».

Джаспер как безумный листал газету, чтобы скорее прочесть новости о себе. В газете всегда про него что-то писали. Наутро после невообразимой какой-нибудь вечеринки газета бывала полна десятками его фотографий и заметок, где гости говорили, что никогда в жизни не бывали на такой исключительной вечеринке и не встречали такого чудесного человека, как Джаспер. А Джаспер иногда отчебучивал штуку, чтобы обратить на себя внимание. Однажды, например, он взял и купил все Вудфордские Кремовые в магазине. Столько за раз еще никто не покупал, и назавтра «Вудфордская Труба» только об этом и трубила. Сам он такую уйму съесть не мог и часть конфет скормил Каннибалу и Фингалу. Хотя знал, что собакам шоколад нельзя. Ему хотелось посмотреть, стошнит ли их. Стошнило – и еще как.

Но сегодня о нем ничего не было в газете, совсем ничего. Всё только о Барни Баррингтоне.

«Чего это с ним?» – удивился Каннибал.

«Цветом стал, как его пижама», – подумал Фингал.

Джаспер отшвырнул газету и выскочил из кровати, так что тостики разлетелись во все стороны. Он схватил телефон и вызвал своего дворецкого.

– Идите сюда, – сказал он. Джаспер редко утруждал себя мелочами вроде слов «пожалуйста» или «спасибо», и даже «здравствуйте».

– НЕМЕДЛЕННО сюда. Сейчас мы составим план самой большой и самой лучшей, самой изумительной и поразительной вечеринки, каких еще не видел Вудфорд.

Каннибал и Фингал встревоженно переглянулись. «Ой, нет! – подумали они. – Снова здорово».

Тем временем в «Дубах» Барни Баррингтон тихо вселялся в свое новое жилище.

HISTORICAL

DRACULA (extract)

Bram Stoker

Chapter 3 - Jonathan Harker's Journal Continued

When I found that I was a prisoner a sort of wild feeling came over me. I rushed up and down the stairs, trying every door and peering out of every window I could find, but after a little the conviction of my helplessness overpowered all other feelings. When I look back after a few hours I think I must have been mad for the time, for I behaved much as a rat does in a trap. When, however, the conviction had come to me that I was helpless I sat down quietly, as quietly as I have ever done anything in my life, and began to think over what was best to be done. I am thinking still, and as yet have come to no definite conclusion. Of one thing only am I certain. That it is no use making my ideas known to the Count. He knows well that I am imprisoned, and as he has done it himself, and has doubtless his own motives for it, he would only deceive me if I trusted him fully with the facts. So far as I can see, my only plan will be to keep my knowledge and my fears to myself, and my eyes open. I am, I know, either being deceived, like a baby, by my own fears, or else I am in desperate straits, and if the latter be so, I need, and shall need, all my brains to get through.

I had hardly come to this conclusion when I heard the great door below shut, and knew that the Count had returned. He did not come at once into the library, so I went cautiously to my own room and found him making the bed. This was odd, but only confirmed what I had all along thought, that there are no servants in the house. When later I saw him through the chink of the hinges of the door laying the table in the dining room, I was assured of it. For if he does himself all these menial offices, surely it is proof that there is no one else in the castle, it must have been the Count himself who was the driver of the coach that brought me here. This is a terrible thought, for if so, what does it mean that he could control the wolves, as he did, by only holding up his hand for silence? How was it that all the people at Bistritz and on the coach had some terrible fear for me? What meant the giving of the crucifix, of the garlic, of the wild rose, of the mountain ash?

КЛАССИКА

ДРАКУЛА (фрагмент)

Брэм Стокер

Перевод В. Бабкова

Глава третья

Продолжение дневника Джонатана Харкера

Когда я понял, что очутился в плену, меня охватили отчаяние и растерянность. Я метался по лестницам, выглядывая из каждого окна и пытаюсь открыть каждую дверь на своем пути, но вскоре осознание своей беспомощности подавило все остальные чувства. Теперь, спустя несколько часов, мне кажется, что я на некоторое время потерял рассудок, ибо вел себя в точности как крыса, угодившая в ловушку. Однако же, осознав наконец тщетность этой беготни, я уселся и спокойно – со всем спокойствием, на какое только был способен, – стал обдумывать, что мне теперь лучше предпринять. Я размышляю об этом до сих пор, но так и не пришел к определенному выводу. Лишь в одном я уверен: нет никакого смысла делиться своими соображениями с графом. Он прекрасно знает, что я пленник, и, поскольку он сам тому виной и, несомненно, имеет для этого свои мотивы, он только обманет меня, если я вздумаю полностью ему довериться. Пока же, насколько я могу судить, мне остается просто держать свои мысли и свои страхи при себе и все время быть начеку. Я знаю: либо я, как малое дитя, стал жертвой собственных страхов, либо угодил в серьезный переплет, и, если верно последнее, мне понадобятся все силы моего разума, чтобы отсюда выбраться.

Едва придя к такому выводу, я услышал, как хлопнула вниз огромная дверь, и понял, что граф вернулся. Он не прошел сразу в библиотеку; тогда я осторожно подкрался к своей комнате и увидел, что он готовит мне постель. Это было странно, но лишь подтвердило мою первоначальную догадку о том, что в доме нет слуг. Позже, подсмотрев сквозь щель меж петлями приотворенной двери, как он накрывает на стол в гостиной, я убедился в этом окончательно. Раз он сам делает все необходимое по хозяйству, это, безусловно, доказывает, что в замке больше никого нет, а стало быть, и кучером, привезшим меня сюда, был не кто иной, как тот же граф собственной персоной. Это ужасная мысль, ибо если я прав, как удалось ему усмирить волков одним-единственным жестом, всего лишь подняв руку, дабы они замолчали? Отчего все обитатели Бистрицы и мои попутчики питали на мой счет столь откровенные опасения? Что означают все эти подарки – распятие, чеснок, дикая роза, рябина?

Bless that good, good woman who hung the crucifix round my neck! For it is a comfort and a strength to me whenever I touch it. It is odd that a thing which I have been taught to regard with disfavour and as idolatrous should in a time of loneliness and trouble be of help. Is it that there is something in the essence of the thing itself, or that it is a medium, a tangible help, in conveying memories of sympathy and comfort? Some time, if it may be, I must examine this matter and try to make up my mind about it. In the meantime I must find out all I can about Count Dracula, as it may help me to understand. Tonight he may talk of himself, if I turn the conversation that way. I must be very careful, however, not to awake his suspicion.

Midnight. — I have had a long talk with the Count. I asked him a few questions on Transylvanian history, and he warmed up to the subject wonderfully. In his speaking of things and people, and especially of battles, he spoke as if he had been present at them all. This he afterwards explained by saying that to a Boyar the pride of his house and name is his own pride, that their glory is his glory, that their fate is his fate. Whenever he spoke of his house he always said ‘we’, and spoke almost in the plural, like a king speaking. I wish I could put down all he said exactly as he said it, for to me it was most fascinating. It seemed to have in it a whole history of the country. He grew excited as he spoke, and walked about the room pulling his great white moustache and grasping anything on which he laid his hands as though he would crush it by main strength. One thing he said which I shall put down as nearly as I can, for it tells in its way the story of his race.

‘We Szekelys have a right to be proud, for in our veins flows the blood of many brave races who fought as the lion fights, for lordship. Here, in the whirlpool of European races, the Ugric tribe bore down from Iceland the fighting spirit which Thor and Wodin gave them, which their Berserkers displayed to such fell intent on the seaboard of Europe, aye, and of Asia and Africa too, till the peoples thought that the werewolves themselves had come. Here, too, when they came, they found the Huns, whose warlike fury had swept the earth like a living flame, till the dying peoples held that in their veins ran the blood of those old witches, who, expelled from Scythia had mated with the devils in the desert. Fools, fools! What devil or what witch was ever so great as Attila, whose blood is in these veins?’ He held up his arms. ‘Is it a wonder that we were a conquering race, that we were proud, that when the Magyar, the Lombard, the Avar, the Bulgar, or the Turk poured his thousands on our frontiers, we drove them back? Is it strange that when Arpad and his legions swept through the Hungarian fatherland he found us here when he reached the frontier, that the Honfoglalas was completed there? And when the Hungarian flood swept eastward, the Szekelys were claimed as kindred by the victorious Magyars, and to us for centuries was trusted the guarding of the frontier of Turkeyland. Aye, and more than that, endless duty of the frontier guard, for as the Turks say, ‘water sleeps, and the

Благослови боже ту славную, добрую женщину, которая повесила мне на шею распятие, – ибо стоит мне коснуться его, как я обретаю силы и утешение! Странно, что вещь, к коей меня учили относиться с неодобрением, как к отголоску идолопоклонства, дарит мне поддержку в пору бедствий и одиночества. Кроется ли в ней самой нечто благое или она служит лишь посредником, осязаемым напоминанием о том, что мне сочувствуют, сопереживают? Когда-нибудь, если наступит такое время, я подробнее рассмотрю этот вопрос и постараюсь составить на сей счет определенное мнение – а куда я должен разузнать все что возможно о графе Дракуле, поскольку без этого мне не понять, что же здесь происходит. Сегодня он может рассказать о себе, если я направлю наш разговор в нужное русло. Однако мне следует быть очень осторожным, дабы не пробудить в нем подозрения.

Полночь. Имел долгую беседу с графом. Задал ему несколько вопросов об истории Трансильвании, и он чрезвычайно охотно подхватил эту тему. Он рассказывал о людях и событиях, особенно о битвах, так, словно сам был их очевидцем. Позже он объяснил это тем, что для дворянина величие его рода и имени – его величие, их слава – его слава, а их судьба – его судьба. Всякий раз, упоминая о своем роде, он говорил «мы» и продолжал во множественном числе, будто король. Мне бы очень хотелось воспроизвести его рассказ без малейших погрешностей, ибо я был буквально заморожен им. В нем словно отразилась вся история этого края. Рассказывая, граф все более возбуждался и вскоре принялся расхаживать по залу, подергивая свои великолепные седые усы и хватаясь за все, что ему подворачивалось, будто желал сокрушить любое препятствие на своем пути. Один из его пассажиров я постараюсь записать как можно точнее, ибо он в некотором смысле заключает в себе историю его народа.

«Мы, секлеры, имеем право на гордость, ибо в наших жилах течет кровь многих отважных народов, которые, подобно львам, бились за свое превосходство. Здесь, точно в бурлящем котле, смешалось множество европейских народов: угорские племена принесли с собой из Исландии боевой дух, коим их наделили Тор и Один, ту свирепую беспощадность, которую их витязи уже продемонстрировали на берегах Европы, да и не только ее, а и Азии, и Африки, так что их жертвам чудилось, будто на них напали не люди, а волки в человеческом обличье. А придя сюда, они застали гуннов, чья боевая ярость опалила землю словно лютым пожаром, пока среди гибнущих народов не пошел слух, что в их жилах струится кровь тех самых ведьм, что, будучи изгнаны из Скифии, сошлись с бесами в пустыне. Ах, глупцы, глупцы! Какой бес и какая ведьма могут сравниться в величии с Аттилой, чья кровь течет в этих жилах! – Он воздел руки горе. – Стоит ли дивиться тому, что мы были нацией победителей, что мы были горды, что когда мадьяры, лангобарды, авары, болгары и турки тысячами шли на наши границы, мы давали им достойный отпор? Разве странно, что Арпад со своими легионами, пронесшись по венгерской земле, уперся в наши рубежи и Хонфоглалаш на том и завершился? А когда венгры хлынули на восток, победоносные мадьяры назвали нас, секлеров, своими братьями и именно нам на протяжении веков доверяли защиту турецкой границы. Да-да – и ведь тем, кто охраняет границу, ни на секунду нельзя терять бдительность, ибо, как говорят турки, «вода спит, но враг вечно бодрствует». Кто из всех четырех

enemy is sleepless.' Who more gladly than we throughout the Four Nations received the 'bloody sword,' or at its warlike call flocked quicker to the standard of the King? When was redeemed that great shame of my nation, the shame of Cassova, when the flags of the Wallach and the Magyar went down beneath the Crescent? Who was it but one of my own race who as Voivode crossed the Danube and beat the Turk on his own ground? This was a Dracula indeed! Woe was it that his own unworthy brother, when he had fallen, sold his people to the Turk and brought the shame of slavery on them! Was it not this Dracula, indeed, who inspired that other of his race who in a later age again and again brought his forces over the great river into Turkeyland, who, when he was beaten back, came again, and again, though he had to come alone from the bloody field where his troops were being slaughtered, since he knew that he alone could ultimately triumph! They said that he thought only of himself. Bah! What good are peasants without a leader? Where ends the war without a brain and heart to conduct it? Again, when, after the battle of Mohacs, we threw off the Hungarian yoke, we of the Dracula blood were amongst their leaders, for our spirit would not brook that we were not free. Ah, young sir, the Szekelys, and the Dracula as their heart's blood, their brains, and their swords, can boast a record that mushroom growths like the Hapsburgs and the Romanoffs can never reach. The warlike days are over. Blood is too precious a thing in these days of dishonourable peace, and the glories of the great races are as a tale that is told.'

It was by this time close on morning, and we went to bed. (Mem., this diary seems horribly like the beginning of the 'Arabian Nights,' for everything has to break off at cock-crow, or like the ghost of Hamlet's father.)

12 May. — Let me begin with facts, bare, meager facts, verified by books and figures, and of which there can be no doubt. I must not confuse them with experiences which will have to rest on my own observation, or my memory of them. Last evening when the Count came from his room he began by asking me questions on legal matters and on the doing of certain kinds of business. I had spent the day wearily over books, and, simply to keep my mind occupied, went over some of the matters I had been examined in at Lincoln's Inn. There was a certain method in the Count's inquiries, so I shall try to put them down in sequence. The knowledge may somehow or some time be useful to me.

First, he asked if a man in England might have two solicitors or more. I told him he might have a dozen if he wished, but that it would not be wise to have more than one solicitor engaged in one transaction, as only one could act at a time, and that to change would be certain to militate against his interest. He seemed thoroughly to understand, and went on to ask if there would be any practical difficulty in having one man to attend, say, to banking, and another to look after shipping, in case local help were needed in a place far from the home of the banking solicitor. I asked to explain more fully, so that I might not by any chance mislead him, so he said:

народов охотнее нас принимал «окровавленный меч» или быстрее собирался под королевские знамена, когда начиналась новая война? Когда был искуплен великий позор моей страны, позор Косова Поля, где флаги валахов и мадяров пали пред мусульманским полумесяцем? Разве не моим соплеменником был тот славный воевода, что перешел через Дунай и побил турок на их родной земле? Вот уж кто был истинный Дракула! Но увы – сей герой был повергнут, а его недостойный брат продал свой народ туркам, наложив на него постыдные цепи рабства! И все же, не тот ли самый Дракула вдохновил своего доблестного потомка, который позднее снова и снова устремлялся с войсками за великую реку, в Туретчину, и даже потерпев поражение, даже в одиночестве покинув залитое кровью поле, где искромсали всех его воинов, возвращался туда опять и опять, зная, что рано или поздно победа непременно будет за ним? Говорят, будто он думал только о себе! Чушь! На что годятся крестьяне без своего вождя? Чего добьются они на войне, если их не ведет за собой человек, наделенный великим умом и душой? А после Мохачской битвы, когда секлеры сбросили с себя венгерское иго, их вновь вели за собой наследники Дракулы, ибо мы не терпим подчинения и вечно алчем свободы. Ах, мой юный друг, секлеры и наш род – а это и есть их мозг, их сердце и меч – могут похвастаться столь славной историей, что жалкой плесени наподобие Габсбургов и Романовых никогда с нами не сравняться. Но дни жарких битв теперь позади. В нашу пору постыдного мира кровь стала чересчур драгоценной, и доблесть великих народов живет лишь в рассказах о былом».

К тому времени уже близилось утро, и мы отправились спать (чудно, что мой дневник так живо напоминает начало «Тысячи и одной ночи», а также беседы с призраком отца Гамлета, ибо все кончается с первым криком петуха).

12 мая. Я начну с фактов, простых голых фактов, подкрепленных книгами и цифрами, так что на их счет исключено всякое сомнение. Мне не следует мешать их с выводами, опирающимися на мои собственные наблюдения, и моей памятью о них. Прошлым вечером, выйдя из своей комнаты, граф первым делом принялся задавать мне вопросы касательно разных юридических и предпринимательских тонкостей. Перед тем я весь день уныло просидел над книгами и, дабы чем-нибудь занять мозги, вновь прошелся по отдельным предметам из тех, по которым меня экзаменовали в Линкольнс-инне. В расспросах графа была известная последовательность, и я попытаюсь запечатлеть их по порядку. Возможно, когда-нибудь и для чего-нибудь это мне пригодится.

Сначала он спросил, разрешено ли частному лицу в Англии иметь двух или более поверенных. Я сказал, что он может иметь их хоть дюжину, буде ему заблагорассудится, но вряд ли разумно пользоваться услугами нескольких представителей при ведении одного дела, ибо они все равно не могут действовать вместе, а менять их в процессе работы едва ли полезно для предприятия. Он тут же согласился с моим доводом и поинтересовался далее, не приведет ли к каким-либо практическим затруднениям наличие одного поверенного, отвечающего, скажем, за финансовую сторону, а другого – за транспортировку, на случай, если понадобится личная помощь в пункте, удаленном от места проживания финансового агента. Я попросил графа растолковать подробнее, о чем идет речь, дабы не ввести его в заблуждение опрометчивым советом, и он сказал:

‘I shall illustrate. Your friend and mine, Mr. Peter Hawkins, from under the shadow of your beautiful cathedral at Exeter, which is far from London, buys for me through your good self my place at London. Good! Now here let me say frankly, lest you should think it strange that I have sought the services of one so far off from London instead of some one resident there, that my motive was that no local interest might be served save my wish only, and as one of London residence might, perhaps, have some purpose of himself or friend to serve, I went thus afield to seek my agent, whose labours should be only to my interest. Now, suppose I, who have much of affairs, wish to ship goods, say, to Newcastle, or Durham, or Harwich, or Dover, might it not be that it could with more ease be done by consigning to one in these ports?’

I answered that certainly it would be most easy, but that we solicitors had a system of agency one for the other, so that local work could be done locally on instruction from any solicitor, so that the client, simply placing himself in the hands of one man, could have his wishes carried out by him without further trouble.

‘But,’ said he, ‘I could be at liberty to direct myself. Is it not so?’

‘Of course,’ I replied, and ‘Such is often done by men of business, who do not like the whole of their affairs to be known by any one person.’

‘Good!’ he said, and then went on to ask about the means of making consignments and the forms to be gone through, and of all sorts of difficulties which might arise, but by forethought could be guarded against. I explained all these things to him to the best of my ability, and he certainly left me under the impression that he would have made a wonderful solicitor, for there was nothing that he did not think of or foresee. For a man who was never in the country, and who did not evidently do much in the way of business, his knowledge and acumen were wonderful. When he had satisfied himself on these points of which he had spoken, and I had verified all as well as I could by the books available, he suddenly stood up and said:

‘Have you written since your first letter to our friend Mr. Peter Hawkins, or to any other?’

It was with some bitterness in my heart that I answered that I had not, that as yet I had not seen any opportunity of sending letters to anybody.

‘Then write now, my young friend,’ he said, laying a heavy hand on my shoulder, ‘write to our friend and to any other, and say, if it will please you, that you shall stay with me until a month from now.’

‘Do you wish me to stay so long?’ I asked, for my heart grew cold at the thought.

‘I desire it much, nay I will take no refusal. When your master, employer, what you will, engaged that someone should come on his behalf, it was understood that my needs only were to be consulted. I have not stinted. Is it not so?’

– Я поясню на примере. Ваш и мой друг, мистер Питер Хокинс, под сенью вашего чудесного собора в Эксетере, находящемся далеко от Лондона, покупает для меня с вашей любезной помощью дом в английской столице. Отлично! Пожалуй, вы спрашиваете себя, зачем я прибегаю к услугам жителя столь отдаленного уголка вместо того, чтобы обратиться к какому-нибудь лондонцу? Ответу вам со всей откровенностью: последний мог бы иметь в этом деле свою корысть или стараться угодить какому-либо своему приятелю, а я выбрал агента из провинции, который заведомо должен трудиться исключительно в моих интересах. А теперь допустим, что я – у меня ведь много разных коммерческих планов – пожелаю отправить кое-какой товар в Ньюкасл, или в Дарем, или в Дувр, или в Харидж, – не легче ли будет выполнить это, обратившись к кому-нибудь из местных портовых посредников?

Я ответил, что это, безусловно, было бы проще всего, однако у доверенных существует система взаимопомощи, так что работа в любом порту может быть выполнена местным агентом по указанию любого доверенного, а потому клиенту достаточно просто поручить защиту всех своих интересов одному из них и тем самым избавить себя от лишних хлопот.

– Однако, – сказал он, – в противном случае у меня будет больше свободы действий. Разве не так?

– Конечно, – ответил я и добавил: – Так рассуждают многие деловые люди, не желающие, чтобы все их замыслы стали известны одному юристу.

– Вот-вот! – воскликнул он и далее принялся расспрашивать меня о том, как оформляются поставки грузов, какие осложнения могут при этом возникнуть и что ему следует предпринять, дабы по возможности сократить их число. Я объяснил ему все по мере своих сил и вынес из нашего разговора глубокое убеждение, что из графа вышел бы превосходный доверенный, ибо не было ни одной мелочи, о которой он не подумал и не позаботился бы заранее. Для того, кто никогда не бывал в Англии и, очевидно, производил не так уж много коммерческих операций, его знания и проницательность были поистине поразительны. Когда он удовлетворил свое любопытство по всем интересующим его вопросам, а я досконально перепроверил свои рекомендации по имеющимся в моем распоряжении книгам, он внезапно поднялся и сказал:

– Одно письмо нашему уважаемому мистеру Хокинсу вы уже отправили, но с тех пор не писали больше ни ему, ни другим?

С некоторой горечью в душе я ответил, что нет, поскольку до сих пор не видел возможности посылать письма кому бы то ни было.

– Так напишите теперь, мой юный друг, – промолвил он, опустив мне на плечо тяжелую руку. – Напишите своему товарищу или кому пожелаете и сообщите, если вам будет угодно, что останетесь у меня еще на месяц.

– Вы хотите, чтобы я остался на такой долгий срок? – сказал я, ибо в груди у меня при этой мысли похолодело.

– Чрезвычайно, и я не приму никаких возражений. Когда ваш хозяин или работодатель, называйте его как вам нравится, обязался прислать сюда своего представителя, мы договорились, что учитываться будут лишь мои нужды. Меня самого нельзя упрекнуть в том, что я нарушаю взятые на себя обязательства, не так ли?

What could I do but bow acceptance? It was Mr. Hawkins' interest, not mine, and I had to think of him, not myself, and besides, while Count Dracula was speaking, there was that in his eyes and in his bearing which made me remember that I was a prisoner, and that if I wished it I could have no choice. The Count saw his victory in my bow, and his mastery in the trouble of my face, for he began at once to use them, but in his own smooth, resistless way.

'I pray you, my good young friend, that you will not discourse of things other than business in your letters. It will doubtless please your friends to know that you are well, and that you look forward to getting home to them. Is it not so?' As he spoke he handed me three sheets of note paper and three envelopes. They were all of the thinnest foreign post, and looking at them, then at him, and noticing his quiet smile, with the sharp, canine teeth lying over the red underlip, I understood as well as if he had spoken that I should be more careful what I wrote, for he would be able to read it. So I determined to write only formal notes now, but to write fully to Mr. Hawkins in secret, and also to Mina, for to her I could write shorthand, which would puzzle the Count, if he did see it. When I had written my two letters I sat quiet, reading a book whilst the Count wrote several notes, referring as he wrote them to some books on his table. Then he took up my two and placed them with his own, and put by his writing materials, after which, the instant the door had closed behind him, I leaned over and looked at the letters, which were face down on the table. I felt no compunction in doing so for under the circumstances I felt that I should protect myself in every way I could.

One of the letters was directed to Samuel F. Billington, No. 7, The Crescent, Whitby, another to Herr Leutner, Varna. The third was to Coutts & Co., London, and the fourth to Herren Klopstock & Billreuth, bankers, Buda Pesth. The second and fourth were unsealed. I was just about to look at them when I saw the door handle move. I sank back in my seat, having just had time to resume my book before the Count, holding still another letter in his hand, entered the room. He took up the letters on the table and stamped them carefully, and then turning to me, said,

'I trust you will forgive me, but I have much work to do in private this evening. You will, I hope, find all things as you wish.' At the door he turned, and after a moment's pause said, 'Let me advise you, my dear young friend. Nay, let me warn you with all seriousness, that should you leave these rooms you will not by any chance go to sleep in any other part of the castle. It is old, and has many memories, and there are bad dreams for those who sleep unwisely. Be warned! Should sleep now or ever overcome you, or be like to do, then haste to your own chamber or to these rooms, for your rest will then be safe. But if you be not careful in this respect, then...' He finished his speech in a gruesome way, for he mo-

Что мне оставалось, как не смиренно поклониться в ответ? Я приехал сюда не по своей воле – меня прислал мистер Хокинс, и я должен был думать не о себе, а о нем; вдобавок, когда граф Дракула произносил свои последние слова, нечто в его глазах и осанке напомнило мне о том, что я здесь пленник и у меня все равно нет выбора. Увидев в моем поклоне и в озабоченности на моем лице доказательство своей победы, граф немедленно принялся развивать ее в свойственной ему вкрадчивой, убедительной манере.

– Настоятельно прошу вас, мой дорогой юный друг, не обсуждать в ваших письмах ничего, кроме деловых вопросов. Ваши друзья, несомненно, рады будут узнать, что вы здоровы и с нетерпением ожидаете встречи с ними по возвращении домой. Разве я не прав?

И он протянул мне три маленьких листка вместе с тремя конвертами. Все конверты были из тончайшей заграничной бумаги, и, посмотрев на них, а затем на него – он спокойно улыбался и его острые по-собачьи зубы выступали поверх красной нижней губы, – я понял яснее ясного, что мне следует писать с большой осторожностью, ибо он без труда сможет прочесть написанное. Тогда я решил ограничиться пока лишь формальными сообщениями, однако затем втайне отправить полный отчет мистеру Хокинсу, а также Мине, поскольку в письме к ней я мог прибегнуть к стенографии, что озадачило бы графа, попытайся он в него заглянуть. Написав два письма, я сидел тихо, читая книгу, покуда граф занимался своей корреспонденцией, справляясь по ходу этой работы с книгами на столе. Затем он взял мои послания, присовокупил их к своим, отложил письменные принадлежности – и стоило двери закрыться за ним, как я перегнулся через стол и схватил письма, которые лежали на нем адресом вниз. Я не испытывал никаких угрызений совести, так как при данных обстоятельствах считал себя вправе защищаться всеми доступными мне способами.

Одно из писем было адресовано Сэмюелу Ф. Биллингтону в Уитби, Кресент, номер 7, другое – герру Лойтнеру в Варну. Третье предназначалось лондонской компании «Куттс и К», а четвертое – будапештским банкирам, господам Клопштоку и Биллройту. Второе и четвертое не были запечатаны. Я уже собрался на них взглянуть, но тут заметил, что дверная ручка поворачивается. Я мгновенно опустился назад в кресло и едва успел притвориться, что читаю, как в комнату вошел граф с еще одним письмом в руке. Он взял оставленные на столе письма, аккуратно запечатал их и, повернувшись ко мне, сказал:

– Прошу меня извинить, но сегодня вечером мне нужно потрудиться в одиночестве. Надеюсь, вы ни в чем не будете иметь недостатка. – У двери он обернулся и, чуть помедлив, добавил: – Позвольте дать вам один совет, мой дорогой юный друг. Нет, позвольте мне предупредить вас со всей серьезностью, что, если вы покинете эти комнаты, вам ни в коем случае не следует засыпать ни в одной другой части замка. Эти стены стары, хранят много воспоминаний, и тот, кто поведет себя неблагоразумно, рискует увидеть дурные сны. Имейте в виду! Если теперь или когда-либо вас начнет клонить в сон, сразу же отправляйтесь в свою опочивальню или в эти комнаты, ибо тогда вам не придется опасаться, что ваш покой будет нарушен. Но если вы проявите в этом смысле неосторожность, то... – Он завершил свою речь угрожающим жестом, показав, что умывает руки. Я хорошо

tioned with his hands as if he were washing them. I quite understood. My only doubt was as to whether any dream could be more terrible than the unnatural, horrible net of gloom and mystery which seemed closing around me.

Later. — I endorse the last words written, but this time there is no doubt in question. I shall not fear to sleep in any place where he is not. I have placed the crucifix over the head of my bed, I imagine that my rest is thus freer from dreams, and there it shall remain.

When he left me I went to my room. After a little while, not hearing any sound, I came out and went up the stone stair to where I could look out towards the South. There was some sense of freedom in the vast expanse, inaccessible though it was to me, as compared with the narrow darkness of the courtyard. Looking out on this, I felt that I was indeed in prison, and I seemed to want a breath of fresh air, though it were of the night. I am beginning to feel this nocturnal existence tell on me. It is destroying my nerve. I start at my own shadow, and am full of all sorts of horrible imaginings. God knows that there is ground for my terrible fear in this accursed place! I looked out over the beautiful expanse, bathed in soft yellow moonlight till it was almost as light as day. In the soft light the distant hills became melted, and the shadows in the valleys and gorges of velvety blackness. The mere beauty seemed to cheer me. There was peace and comfort in every breath I drew. As I leaned from the window my eye was caught by something moving a storey below me, and somewhat to my left, where I imagined, from the order of the rooms, that the windows of the Count's own room would look out. The window at which I stood was tall and deep, stone-mullioned, and though weatherworn, was still complete. But it was evidently many a day since the case had been there. I drew back behind the stonework, and looked carefully out.

What I saw was the Count's head coming out from the window. I did not see the face, but I knew the man by the neck and the movement of his back and arms. In any case I could not mistake the hands which I had had some many opportunities of studying. I was at first interested and somewhat amused, for it is wonderful how small a matter will interest and amuse a man when he is a prisoner. But my very feelings changed to repulsion and terror when I saw the whole man slowly emerge from the window and begin to crawl down the castle wall over the dreadful abyss, face down with his cloak spreading out around him like great wings. At first I could not believe my eyes. I thought it was some trick of the moonlight, some weird effect of shadow, but I kept looking, and it could be no delusion. I saw the fingers and toes grasp the corners of the stones, worn clear of the mortar by the stress of years, and by thus using every projection and inequality move downwards with considerable speed, just as a lizard moves along a wall.

его понял. Единственным сомнением оставалось то, может ли даже самый дурной сон оказаться ужаснее той страшной, противоестественной сети мрака и тайны, которая, похоже, затягивалась вокруг меня.

Позже. Я подписываюсь под своими последними словами, но на сей раз сомнений уже нет. Я не побоюсь спать в любом месте, лишь бы там не было графа. Свое распятие я повесил над изголовьем кровати; мне кажется, что благодаря ему меня не так сильно тревожат сновидения, и оно там останется.

Когда мы распрощались, я отправился к себе в комнату. Спустя некоторое время, не слыша ни звука, я покинул ее и поднялся по каменной лестнице к окну, выходящему на юг. По сравнению с темным и узким двором в этой широкой панораме, хоть и недосягаемой для меня, был некий аромат свободы. Глядя в окно, я вновь ощутил себя узником, и мне, несмотря на ночную пору, захотелось глотнуть свежего воздуха. Это ночное существование мало-помалу начинает на мне сказываться. Оно разрушает мои нервы. Я пугаюсь собственной тени, и меня осаждают разнообразные жуткие фантазии. Видит Бог, у меня есть основания бояться в этом проклятом месте! Я смотрел на чудесные просторы, над которыми сияла желтая луна, и вскоре там стало почти так же светло, как днем. Далекие холмы будто таяли в этом мягком свете, а в ущельях и долинах лежали бархатно-черные тени. Было так красиво, что я невольно взбодрился. С каждым вздохом мою душу наполняли умиротворение и покой. Когда я стоял, опершись на подоконник, мой взгляд привлекло нечто движущееся этажом ниже и чуть слева от меня – насколько я мог судить по расположению комнат, примерно там находились личные апартаменты графа. Мое окно, попорченное непогодой, но еще целое, делил пополам вертикальный каменный брусок, однако от рамы, если она когда-то здесь была, не осталось и следа. Я подался назад, спрятавшись за толстой стеной, а затем осторожно выглянул наружу.

На моих глазах из окна внизу высунулась голова графа. Лица его я не видел, но по затылку и очертаниям плеч понял, что это он. Во всяком случае, я не мог спутать ни с чьими его руки, которые у меня было много возможностей рассмотреть ранее. Поначалу его появление заинтересовало и даже заинтриговало меня – удивительно, какой малости довольно, чтобы заинтересовать и заинтриговать пленника! Но эти мои чувства сменились ужасом и отвращением, когда я увидел, как граф медленно вылез из окна целиком и двинулся по стене замка над головокружительной бездной – он полз, опустив голову, и его плащ распростерся над ним, как огромные крылья. Сначала я не поверил своим глазам. Мне подумалось, что это проделки лунного света, какая-то причудливая игра теней, но я продолжал смотреть и вскоре убедился, что это не иллюзия. Я видел, как пальцы его рук и ног цепляются за края камней, известка между которыми давно осыпалась под грузом лет, как он использует каждый выступ и неровность, дабы продвигаться вниз со значительной скоростью, подобно ползущей по стене ящерице.

What manner of man is this, or what manner of creature, is it in the semblance of man? I feel the dread of this horrible place overpowering me. I am in fear, in awful fear, and there is no escape for me. I am encompassed about with terrors that I dare not think of.

15 May. — Once more I have seen the count go out in his lizard fashion. He moved downwards in a sidelong way, some hundred feet down, and a good deal to the left. He vanished into some hole or window. When his head had disappeared, I leaned out to try and see more, but without avail. The distance was too great to allow a proper angle of sight. I knew he had left the castle now, and thought to use the opportunity to explore more than I had dared to do as yet. I went back to the room, and taking a lamp, tried all the doors. They were all locked, as I had expected, and the locks were comparatively new. But I went down the stone stairs to the hall where I had entered originally. I found I could pull back the bolts easily enough and unhook the great chains. But the door was locked, and the key was gone! That key must be in the Count's room. I must watch should his door be unlocked, so that I may get it and escape. I went on to make a thorough examination of the various stairs and passages, and to try the doors that opened from them. One or two small rooms near the hall were open, but there was nothing to see in them except old furniture, dusty with age and moth-eaten. At last, however, I found one door at the top of the stairway which, though it seemed locked, gave a little under pressure. I tried it harder, and found that it was not really locked, but that the resistance came from the fact that the hinges had fallen somewhat, and the heavy door rested on the floor. Here was an opportunity which I might not have again, so I exerted myself, and with many efforts forced it back so that I could enter. I was now in a wing of the castle further to the right than the rooms I knew and a storey lower down. From the windows I could see that the suite of rooms lay along to the south of the castle, the windows of the end room looking out both west and south. On the latter side, as well as to the former, there was a great precipice. The castle was built on the corner of a great rock, so that on three sides it was quite impregnable, and great windows were placed here where sling, or bow, or culverin could not reach, and consequently light and comfort, impossible to a position which had to be guarded, were secured. To the west was a great valley, and then, rising far away, great jagged mountain fastnesses, rising peak on peak, the sheer rock studded with mountain ash and thorn, whose roots clung in cracks and crevices and crannies of the stone. This was evidently the portion of the castle occupied by the ladies in bygone days, for the furniture had more an air of comfort than any I had seen.

The windows were curtainless, and the yellow moonlight, flooding in through the diamond panes, enabled one to see even colours, whilst it softened the wealth of dust which lay over all and disguised in some measure the ravages of time and moth. My lamp seemed to be of little effect in the brilliant moonlight, but I was glad to have it with me, for there was a dread loneliness in the place which chilled my heart and made my nerves

Что это за человек – или что это за существо в облике человека? Ужас этого кошмарного места постепенно парализует мою душу. Я боюсь, боюсь отчаянно и не вижу для себя спасения. Здесь творится нечто чудовищное, о чем я не смею и помыслить.

15 мая. Снова видел графа, ползущего по стене, как ящерица. Двигаясь вниз и в сторону, он спустился примерно на сотню футов и исчез в дыре или окне, находящемся гораздо левее окна своей спальни. Когда его голова исчезла, я высунулся наружу, чтобы увидеть больше, но безрезультатно: граф был слишком далеко от меня, и я не мог как следует его разглядеть. Зная, что теперь он покинул замок, я решил воспользоваться предоставленной возможностью и изучить его жилище подробнее, нежели осмеливался прежде. Я вернулся к себе, взял лампу и стал проверять каждую дверь по порядку. Все они оказались запертыми, как я и ожидал, причем замки на них были относительно новыми. Затем я спустился по каменной лестнице в вестибюль. Мне легко удалось отодвинуть засовы и снять тяжелые цепи на входной двери, но она тоже была заперта, а где искать ключ, я не знал! Должно быть, граф держит его у себя в комнате, подумал я; значит, нужно дождаться, когда он оставит ее открытой, найти ключ и сбежать. Далее я продолжил тщательный осмотр всех лестниц и коридоров, пробуя по дороге все двери. Одна-две комнатки рядом с вестибюлем оказались открытыми, но я не увидел там ничего, кроме древней мебели, запыленной и побитой молью. Наконец я таки обнаружил наверху лестницы дверь, которая, будучи запертой, все же чуть подавалась при нажатии. Я налег на нее сильнее и понял, что она на самом деле не заперта, а сопротивляется лишь потому, что петли у нее осели и тяжелая створка уперлась в пол. Такого случая могло больше не представиться, и я пыхтел, пока не приоткрыл дверь настолько, чтобы протиснуться в щель. Я находился сейчас в другом крыле, правее тех комнат, которые знал, и этажом ниже. Из окон было видно, что эта анфилада расположена в южной части замка и окна последней ее комнаты выходят как на юг, так и на запад. И с той, и с другой стороны зияла внизу огромная пропасть. Построенный на краю гигантской скалы, замок был абсолютно неуязвим с трех сторон, и эти широкие окна, недостижимые для пращи, лука и кулеврины, обеспечивали его обитателям свет и комфорт, невозможные в помещениях, которые требовали более основательной обороны. На западе лежала широкая долина, а за нею, вдалеке, высились зубчатые горные бастионы – пик громоздился на пик, и голые скалы лишь кое-где поросли рябиной и терновником, запустившими корни в трещины и расщелины меж камнями. Очевидно, что в прежнюю пору эту часть графской цитадели занимали дамы, ибо мебель здесь выглядела более удобной, чем в других известных мне комнатах.

На окнах не было занавесей, и желтый свет луны, льющийся сквозь ромбовидные стекла, позволял даже различать цвета, зрительно облегчая при этом бремя лежащей повсюду пыли и до известной степени маскируя пагубное воздействие времени и моли. Моя лампа едва ли добавляла что-то к этому яркому свету, но я все равно был рад, что она при мне, ибо царящее здесь мрачное запустение наполняло мою душу холодом и заставляло трепетать нервы.

tremble. Still, it was better than living alone in the rooms which I had come to hate from the presence of the Count, and after trying a little to school my nerves, I found a soft quietude come over me. Here I am, sitting at a little oak table where in old times possibly some fair lady sat to pen, with much thought and many blushes, her ill-spelt love letter, and writing in my diary in shorthand all that has happened since I closed it last. It is the nineteenth century up-to-date with a vengeance. And yet, unless my senses deceive me, the old centuries had, and have, powers of their own which mere 'modernity' cannot kill.

Later: The morning of 16 May. — God preserve my sanity, for to this I am reduced. Safety and the assurance of safety are things of the past. Whilst I live on here there is but one thing to hope for, that I may not go mad, if, indeed, I be not mad already. If I be sane, then surely it is maddening to think that of all the foul things that lurk in this hateful place the Count is the least dreadful to me, that to him alone I can look for safety, even though this be only whilst I can serve his purpose. Great God! Merciful God, let me be calm, for out of that way lies madness indeed. I begin to get new lights on certain things which have puzzled me. Up to now I never quite knew what Shakespeare meant when he made Hamlet say, 'My tablets! Quick, my tablets! 'tis meet that I put it down,' etc. For now, feeling as though my own brain were unhinged or as if the shock had come which must end in its undoing, I turn to my diary for repose. The habit of entering accurately must help to soothe me.

The Count's mysterious warning frightened me at the time. It frightens me more now when I think of it, for in the future he has a fearful hold upon me. I shall fear to doubt what he may say!

When I had written in my diary and had fortunately replaced the book and pen in my pocket I felt sleepy. The Count's warning came into my mind, but I took pleasure in disobeying it. The sense of sleep was upon me, and with it the obstinacy which sleep brings as outrider. The soft moonlight soothed, and the wide expanse without gave a sense of freedom which refreshed me. I determined not to return tonight to the gloom-haunted rooms, but to sleep here, where, of old, ladies had sat and sung and lived sweet lives whilst their gentle breasts were sad for their menfolk away in the midst of remorseless wars. I drew a great couch out of its place near the corner, so that as I lay, I could look at the lovely view to east and south, and unthinking of and uncaring for the dust, composed myself for sleep. I suppose I must have fallen asleep. I hope so, but I fear, for all that followed was startlingly real, so real that now sitting here in the broad, full sunlight of the morning, I cannot in the least believe that it was all sleep.

И все-таки это было лучше, чем сидеть одному в комнатах, которые я уже успел возненавидеть из-за присутствия графа, и после того, как мне удалось немного обуздать волнение, я ощутил, что на меня нисходит мягкий покой. Вот я, сижу за дубовым столиком, куда в давние времена, должно быть, садилась какая-нибудь прекрасная леди, дабы по долгому размышлению, неоднократно залившись румянцем, написать изобилующее грамматическими ошибками любовное послание, и скорописью заносу в дневник все, что случилось с тех пор, как я открывал его в последний раз. Что ж, девятнадцатый век в своем праве! И все же, если чувства меня не обманывают, древние века обладали – и обладают донныне – могуществом особого рода, которое так называемая современность уничтожить не в силах.

Позже: утром 16 мая. Господи, помоги мне сохранить рассудок, ибо это единственное, что у меня еще не отнято! О безопасности и ее гарантиях мечтать уже поздно. Пока я живу здесь, мне остается надеяться лишь на одно: что я не сойду с ума, если, конечно, уже не сошел. Но если мой разум еще при мне, то сколь же губительна для него мысль, что из всех гнусных созданий, обитающих в этом богомерзком месте, граф представляет для меня наименьшую угрозу, что только у него я могу искать защиты, пусть даже в обмен на послушное исполнение его воли! Боже правый! Помилосердствуй и даруй мне присутствие духа, ибо в противном случае я обречен на безумие! Я начинаю видеть под новым углом то, что прежде меня озадачивало. Раньше я никогда толком не понимал, что имел в виду Шекспир, заставляя Гамлета говорить: «Где грифель мой? Скорее, грифель! Я должен это записать...», и т. д. Но теперь, чувствуя, что рассудок мне изменяет и что пережитое потрясение может завершиться для него плачевно, я обращаюсь за поддержкой к своему дневнику. Привычка регулярно делать записи должна помочь мне успокоиться.

Таинственное предостережение графа напугало меня сразу же, как только я его услышал. Но сейчас, вспоминая его, я боюсь еще больше, ибо вижу в нем намек на то, что граф получит надо мною ужасную власть. Теперь самое страшное для меня – это подвергнуть сомнению любые его слова!

Когда я закончил последнюю запись и убрал дневник с пером в карман, на меня напала сонливость. Я вспомнил о предупреждении графа, но решил пренебречь им и тем доставить себе удовольствие. Меня одолевала дремота, а вместе с нею пришло и упрямство, этот верный спутник сна. Мягкий лунный свет действовал умиротворяюще, а широкая панорама снаружи навевала приятное чувство свободы. Я решил не возвращаться сегодня в те сумрачные комнаты, а переночевать здесь, где некогда сиживали и напевали печальные песни красавицы былых времен, чья нежная грудь переполнялась тоской по кавалерам, сгинувшим в пучине безжалостных войн. Я выдвинул из угла большую кушетку, чтобы можно было наслаждаться с нее прелестным видом на восток и юг, и, не обращая внимания на пыль, приготовился ко сну. Должно быть, я действительно задремал. Во всяком случае, я надеюсь на это – но страх мой не отступает, поскольку все, что произошло далее, выглядело пугающе реальным, настолько реальным, что теперь, ясным солнечным утром, я просто не способен поверить, что все это было сном.

I was not alone. The room was the same, unchanged in any way since I came into it. I could see along the floor, in the brilliant moonlight, my own footsteps marked where I had disturbed the long accumulation of dust. In the moonlight opposite me were three young women, ladies by their dress and manner. I thought at the time that I must be dreaming when I saw them, they threw no shadow on the floor. They came close to me, and looked at me for some time, and then whispered together. Two were dark, and had high aquiline noses, like the Count, and great dark, piercing eyes, that seemed to be almost red when contrasted with the pale yellow moon. The other was fair, as fair as can be, with great masses of golden hair and eyes like pale sapphires. I seemed somehow to know her face, and to know it in connection with some dreamy fear, but I could not recollect at the moment how or where. All three had brilliant white teeth that shone like pearls against the ruby of their voluptuous lips. There was something about them that made me uneasy, some longing and at the same time some deadly fear. I felt in my heart a wicked, burning desire that they would kiss me with those red lips. It is not good to note this down, lest some day it should meet Mina's eyes and cause her pain, but it is the truth. They whispered together, and then they all three laughed, such a silvery, musical laugh, but as hard as though the sound never could have come through the softness of human lips. It was like the intolerable, tingling sweetness of waterglasses when played on by a cunning hand. The fair girl shook her head coquettishly, and the other two urged her on.

One said, 'Go on! You are first, and we shall follow. Yours is the right to begin.'

The other added, 'He is young and strong. There are kisses for us all.'

I lay quiet, looking out from under my eyelashes in an agony of delightful anticipation. The fair girl advanced and bent over me till I could feel the movement of her breath upon me. Sweet it was in one sense, honey-sweet, and sent the same tingling through the nerves as her voice, but with a bitter underlying the sweet, a bitter offensiveness, as one smells in blood.

I was afraid to raise my eyelids, but looked out and saw perfectly under the lashes. The girl went on her knees, and bent over me, simply gloating. There was a deliberate voluptuousness which was both thrilling and repulsive, and as she arched her neck she actually licked her lips like an animal, till I could see in the moonlight the moisture shining on the scarlet lips and on the red tongue as it lapped the white sharp teeth. Lower and lower went her head as the lips went below the range of my mouth and chin and seemed to fasten on my throat. Then she paused, and I could hear the churning sound of her tongue as it licked her teeth and lips, and I could feel the hot breath on my neck. Then the skin of my throat began to tingle as one's flesh does when the hand that is to tickle it approaches nearer, nearer. I could feel the soft, shivering touch of the lips on the super sensitive skin of my throat, and the hard dents of two sharp teeth, just touching and pausing there. I closed my eyes in languorous ecstasy and waited, waited with beating heart.

Я был не один. Комната оставалась прежней, она ни в чем не изменилась с тех пор, как я переступил ее порог. Войдя, я потревожил многолетний слой пыли на деревянном полу, и в ярких лунных лучах виднелись оставленные мною следы. Тот же лунный свет падал и на трех молодых женщин напротив, аристократок, если судить по их платью и манерам. Тогда я подумал, что они мне снятся, ибо все три не отбрасывали тени. Приблизившись, они некоторое время смотрели на меня, а затем стали перешептываться. Две из них были брюнетками с орлиным, как у графа, носом и огромными, темными, пронзительными глазами, которые казались чуть ли не красными по контрасту с бледно-желтой луной. Третья была белокура – белокура, насколько это возможно, с целой копной золотистых локонов и глазами, похожими на светлые сапфиры. Ее лицо показалось мне знакомым, я словно знал его в связи с каким-то смутным страхом, но в тот момент не мог вспомнить, где и когда мне доводилось его видеть. У всех трех были идеально белые зубы, которые жемчугом сверкали меж полных рубиновых губ. При взгляде на эти губы мне почему-то сделалось не по себе: они одновременно и завораживали, и внушали смертельный страх. Мою душу охватило пылкое извращенное желание отдаться их поцелуям. Не очень-то хорошо записывать такое, поскольку когда-нибудь эти строки могут попасться на глаза Мине и причинить ей боль, но это правда. Пошептавшись, все три вдруг рассмеялись. Их смех был серебристым, музыкальным, но удивительно сухим – не верилось, что подобный звук могут исторгнуть мягкие человеческие уста. Он походил на невыносимо сладостный перезвон стеклянных бокалов, потревоженных умелой рукой. Белокурая кокетливо покачала головой, а остальные принялись ее подзуживать. Одна сказала:

– Давай же! Ты первая, а мы за тобой. У тебя есть право начать.

– Он молод и силен, – добавила другая. – Поцелуев хватит на всех.

Я лежал тихо, глядя сквозь ресницы в мучительно-восторженном предвкушении. Белокурая шагнула вперед и склонилась надо мной, так что я ощущал на себе ее дыхание. С одной стороны, оно было сладким – сладким, точно мед, и мои нервы затрепетали, как и при звуке ее голоса, – но под этой сладостью крылось нечто иное, какая-то отвратительная горечь вроде той, что сквозит в запахе крови.

Я боялся приподнять веки, но смотрел из-под ресниц и видел все совершенно отчетливо. Девушка стала на колени и замерла надо мной, едва ли не дрожа от нетерпения. В ее нарочитом сладострастии было нечто одновременно волнительное и отталкивающее; согнув шею, она облизнула губы, словно животное, и я увидел в лунном свете, как влажно блестят ее алые губы и красный язык, мелькнувший за острыми белыми зубами. Все ниже и ниже склонялась ее голова, и губы, миновав мой рот и подбородок, как будто бы остановились над моим горлом. Там она помедлила, и я услышал, как ее язык с причмокиванием вновь прошелся по губам и зубам, и почувствовал на своей шее ее жаркое дыхание. Потом кожу на моем горле стало легонько покалывать, как бывает, когда рука, собирающаяся вас пощекотать, медленно приближается. Кожа на горле очень чувствительна, и я ощутил мягкое прикосновение ее дрожащих губ и твердое нажатие двух острых зубов, которые дотронулись до горла и замерли без движения. Я закрыл глаза в томительном восторге и ждал, ждал с неистово бьющимся сердцем.

But at that instant, another sensation swept through me as quick as lightning. I was conscious of the presence of the Count, and of his being as if lapped in a storm of fury. As my eyes opened involuntarily I saw his strong hand grasp the slender neck of the fair woman and with giant's power draw it back, the blue eyes transformed with fury, the white teeth champing with rage, and the fair cheeks blazing red with passion. But the Count! Never did I imagine such wrath and fury, even to the demons of the pit. His eyes were positively blazing. The red light in them was lurid, as if the flames of hell fire blazed behind them. His face was deathly pale, and the lines of it were hard like drawn wires. The thick eyebrows that met over the nose now seemed like a heaving bar of white-hot metal. With a fierce sweep of his arm, he hurled the woman from him, and then motioned to the others, as though he were beating them back. It was the same imperious gesture that I had seen used to the wolves. In a voice which, though low and almost in a whisper seemed to cut through the air and then ring in the room he said:

'How dare you touch him, any of you? How dare you cast eyes on him when I had forbidden it? Back, I tell you all! This man belongs to me! Beware how you meddle with him, or you'll have to deal with me.'

The fair girl, with a laugh of ribald coquetry, turned to answer him. 'You yourself never loved. You never love!' On this the other women joined, and such a mirthless, hard, soulless laughter rang through the room that it almost made me faint to hear. It seemed like the pleasure of fiends.

Then the Count turned, after looking at my face attentively, and said in a soft whisper, 'Yes, I too can love. You yourselves can tell it from the past. Is it not so? Well, now I promise you that when I am done with him you shall kiss him at your will. Now go! Go! I must awaken him, for there is work to be done.'

'Are we to have nothing tonight?' said one of them, with a low laugh, as she pointed to the bag which he had thrown upon the floor, and which moved as though there were some living thing within it. For answer he nodded his head. One of the women jumped forward and opened it. If my ears did not deceive me there was a gasp and a low wail, as of a half smothered child. The women closed round, whilst I was aghast with horror. But as I looked, they disappeared, and with them the dreadful bag. There was no door near them, and they could not have passed me without my noticing. They simply seemed to fade into the rays of the moonlight and pass out through the window, for I could see outside the dim, shadowy forms for a moment before they entirely faded away.

Then the horror overcame me, and I sank down unconscious.

Но в этот миг другое ощущение пронзило меня, словно молния. Я почувствовал присутствие графа и безудержный гнев, охвативший все его существо. Глаза мои невольно открылись, и я увидел, как он могучей рукой схватил белокурую девушку за стройную шею и с исполинской силой оторвал ее от меня – в ее голубых глазах взвихрилась злорада, белые зубы щелкнули от досады, а нежные щеки вспыхнули алым румянцем. Но граф! Я и представить себе не мог такой свирепой ярости, хоть бы и у демонов преисподней. Его глаза буквально сверкали. В них горели зловещие красные огоньки, будто за ними полыхало адское пламя. Лицо было смертельно-бледным, а его очертания – жесткими, точно высеченными из камня. Густые брови, сросшиеся над переносицей, напоминали сейчас брусок раскаленного добела металла. Одним взмахом руки он отшвырнул от себя девушку, а затем сделал властное движение, словно отгоняя других. Это был тот самый повелительный жест, каким он на моих глазах усмирив волков. Тихим голосом, почти шепотом, который тем не менее точно прорезал воздух и раскатился по всей комнате, он сказал:

– Да как вы осмелились его тронуть, вы все? Как вы смели бросить на него взгляд, несмотря на мой запрет? Назад, говорю вам! Этот человек мой! Если коснетесь его хоть пальцем, будете иметь дело со мной!

Усмехнувшись с бесстыдным кокетством, белокурая обернулась к нему.

– Вы сами никогда не любили. Вы не умеете любить! – При этих словах остальные присоединились к ней, и в комнате зазвенел такой жесткий, бездушный, лишенный всякой радости смех, что я едва не потерял сознание, услышав его. Это походило на веселье злых духов.

Граф внимательно всмотрелся мне в лицо, а потом обернулся и ответил ей тихим шепотом:

– Нет, я умею любить. Вам известно это по прошлому. Разве не так? Что ж, обещаю вам, что когда я покончу с ним, вы сможете целовать его сколько угодно. А теперь прочь! Прочь! Я разбужу его, ибо дело не терпит.

– Неужели нам сегодня ничего не достанется? – спросила одна из них с тихим смешком, указав на сумку, брошенную графом на пол и шевелившуюся так, будто внутри находилось что-то живое. В ответ он кивнул. Одна из женщин бросилась вперед и раскрыла ее. Если уши меня не обманули, оттуда донесся вскрик и тихий стон, словно бы придушенного ребенка. Женщины столпились вокруг, тогда как я едва превозмогал ужас. Но тут на моих глазах они исчезли, а с ними и кошмарная сумка. Рядом с ними не было двери, и они не могли выйти так, чтобы я этого не заметил. Они как будто поблекли в лунных лучах и выскользнули в окно, ибо я еще успел увидеть снаружи смутные расплывчатые тени, которые через несколько мгновений растаяли окончательно.

Потом ужас захлестнул меня, и все кануло в небытие.

THE GREAT HUNGER (extract)

Patrick Kavanagh

I

Clay is the word and clay is the flesh
Where the potato-gatherers like mechanised scarecrows move
Along the side-fall of the hill — Maguire and his men.
If we watch them an hour is there anything we can prove
Of life as it is broken-backed over the Book
Of Death? Here crows gabble over worms and frogs
And the gulls like old newspapers are blown clear of the hedges, luckily.
Is there some light of imagination in these wet clods?
Or why do we stand here shivering?
Which of these men
Loved the light and the queen
Too long virgin? Yesterday was summer. Who was it promised marriage to himself
Before apples were hung from the ceilings for Hallowe'en?
We will wait and watch the tragedy to the last curtain,
Till the last soul passively like a bag of wet clay
Rolls down the side of the hill, diverted by the angles
Where the plough missed or a spade stands, straitening the way.

A dog lying on a torn jacket under a heeled-up cart,
A horse nosing along the posied headland, trailing
A rusty plough. Three heads hanging between wide-apart
Legs. October playing a symphony on a slack wire paling.
Maguire watches the drills flattened out
And the flints that lit a candle for him on a June altar
Flameless. The drills slipped by and the days slipped by
And he trembled his head away and ran free from the world's halter,
And thought himself wiser than any man in the townland
When he laughed over pints of porter
Of how he came free from every net spread
In the gaps of experience. He shook a knowing head

ВЕЛИКИЙ ГОЛОД (фрагмент)

Патрик Каванах

Перевод Юлия Гуголева

I

Брение – слово и брение – плоть,
там, где картофеля сборщики движутся, как заведенные
пугала на склоне холма – Магуайр и иже с ним.
Сколько б на них ни смотреть, разве хоть признак жизни найдем мы
в том, как их переломило прямо над Книгой
Смерти? Ворóны гремят о лягушках и червях,
и чайки чудом, как газеты на ветру, минуют изгородь.
Есть ли хоть проблеск сознания в эти раскисших телах?
А иначе с чего б нам стоять здесь, дрожа?
Кто из этих людей
свет любил и королеву –
бесконечную деву? Вчера было лето. Кто там жениться себе обещал
раньше, чем свесятся яблоки с потолка в канун Хэллоуина?
Мы подождем и досмотрим трагедию, пока не опустится занавес,
пока последняя душа безвольно, словно торба жидкой грязи,
не скатится к подножью, огибая те места,
где не прошелся плуг или торчит лопата, препятствуя движению по трассе.

Телега стоит на упоре, под ней на разорванной куртке – собака,
лошадь вдоль кромки поля чует цветы, волочит сзади
ржавый плуг. Три головы свисают промеж раскоряченных ног.
Октябрь играет симфонию на проволочной ограде.
Магуайр следит за утаптыванием борозды,
в ней кремни, что без пламени зажигали его свечу в июне
при алтаре. Борозды промелькнули и дни промелькнули,
он тряхнул головой и высвободился из мира сего узды,
и себя он считал всех умнее в округе,
и смеялся за пинтой портера,
изо всех, мол, житейских сетей ускользал.
Умудренной своей головою качал,

And pretended to his soul
That children are tedious in hurrying fields of April
Where men are spanging across wide furrows.
Lost in the passion that never needs a wife
The pricks that pricked were the pointed pins of harrows.
Children scream so loud that the crows could bring
The seed of an acre away with crow-rude jeers.
Patrick Maguire, he called his dog and he flung a stone in the air
And hallooed the birds away that were the birds of the years.
Turn over the weedy clods and tease out the tangled skeins.
What is he looking for there?
He thinks it is a potato, but we know better
Than his mud-gloved fingers probe in this insensitive hair.

‘Move forward the basket and balance it steady
In this hollow. Pull down the shafts of that cart, Joe,
And straddle the horse,’ Maguire calls.
‘The wind’s over Branagan’s, now that means rain.
Graip up some withered stalks and see that no potato falls
Over the tail-board going down the ruckety pass —
And that’s a job we’ll have to do in December,
Gravel it and build a kerb on the bog-side. Is that Cassidy’s ass
Out in my clover? Curse o’God
Where is that dog?
Never where he’s wanted’ Maguire grunts and spits
Through a clay-wattled moustache and stares about him from the height.
His dream changes like the cloud-swung wind
And he is not so sure now if his mother was right
When she praised the man who made a field his bride.

Watch him, watch him, that man on a hill whose spirit
Is a wet sack flapping about the knees of time.
He lives that his little fields may stay fertile when his own body
Is spread in the bottom of a ditch under two coulter crossed in Christ’s Name.

He was suspicious in his youth as a rat near strange bread,
When girls laughed; when they screamed he knew that meant
The cry of fillies in season. He could not walk

перед душою своей притворялся,
что дети – доука в полях хлопотливых апреля,
где преданы страсти, для коей не нужно жены,
мужчины стоят, раскорячившись над бороздами,
концы торчат – нет, зубья бороны.
Дети так громко кричат, что вороны могли б
с целого акра поднять семена в свой глумливый полет.
Патрик Магуайр – он скомандовал псу, и камень в воздух швырнул,
прочь прогоняя птиц – этих птиц пролетевших лет.
Он перебирает косматые комья, вычесывает сорняки.
Что он там ищет?
Он думает, клубень, но мы разбираемся лучше,
чем его пальцы в перчатках из грязи – в бесчувственном корневище.

«Двигай вперед корзину, ставь ее ровно
в этой ямке. Джо, распрягай телегу
и верхом давай, – окликает Магуайр. –
Ветер над Браннаганским ущельем, дело к дождю.
На вилы сухую ботву подбирай, смотри, ни один чтоб клубень за край
телеги не выпал на этом разбитом пути –
вот будет нам работа в декабре,
гравий насыплем и укрепим со стороны болота. Чей там осел – что ли, Кэссиди?
Там, в моем клевере. В бога-душу,
собака-то где?
Вечно не там, где надо!» – ворчит и сплевывает Магуайр –
усы перепачканы глиной, – он смотрит вокруг с высокого места.
Мечта его переменчива, как ветер среди облаков,
и он уже не уверен, говорила ли мать его честно,
восхваляя мужчину, которому поле теперь невеста.

Вот, смотри, человек на холме, чей дух,
словно мокрый мешок, шлепает о колени времени.
Он живет, чтоб плодородило поле, когда его тело
ляжет в канаву под сошники, скрещенные ради Христова имени.

Он был подозрителен в юности, точно крыса одна у чудного зерна,
когда девицы смеялись; а если кричали, то он узнавал
кобылиц разохоченных стоны. Идти он не мог

The easy road to destiny. He dreamt
The innocence of young brambles to hooked treachery.
O the grip, O the grip of irregular fields! No man escapes.
It could not be that back of the hills love was free
And ditches straight.
No monster hand lifted up children and put down apes
As here.
'O God if I had been wiser!'
That was his sigh like the brown breeze in the thistles.
He looks towards his house and haggard. 'O God if I had been wiser!'
But now a crumpled leaf from the whitethorn bushes
Darts like a frightened robin, and the fence
Shows the green of after-grass through a little window,
And he knows that his own heart is calling his mother a liar
God's truth is life — even the grotesque shapes of his foulest fire.

The horse lifts its head and crashes
Through the whins and stones
To lip late passion in the crawling clover.
In the gap there's a bush weighted with boulders like morality,
The fools of life bleed if they climb over.

The wind leans from Brady's, and the coltsfoot leaves are holed with rust,
Rain fills the cart-tracks and the sole-plate grooves;
A yellow sun reflects in Donaghmoyne
The poignant light in puddles shaped by hooves.

Come with me, Imagination, into this iron house
And we will watch from the doorway the years run back,
And we will know what a peasant's left hand wrote on the page.
Be easy, October. No cackle hen, horse neigh, tree sough, duck quack.

легкой дорогой навстречу судьбе. Он мечтал
о невинности ягод молодых, не познавших коварства измены.
Но никто этой хватки неровных полей не избежал!
Едва ли по ту сторону холмов любовь свободна,
а земля – без ям.
Рука чудовища детей не похищает, а вместо них не возвращает обезьян,
как здесь.
«О господи, когда б я был умней!» –
вздых точно ветерок в чертополохе.
Теперь он смотрит на гумно и дом. «О господи, когда б я был умней!»
Но вот боярышника жухлый лист летит
испуганной малиновкой, и зелень
отавы за оградой видно,
и он знает, что мать свою лгуньей называет он в сердце своем.
Божья правда есть жизнь – даже уродства, рожденные самым скверным ее огнем.

Лошадь тянется поверх
колючек и камней,
коснуться клевера, своей любви последней.
Меж валунами куст растет, сдавленный, будто моралью.
Безумцы жизни истекают кровью, когда не отступают перед ней.

Ветер дует от Брейди, мать-и-мачеха съедена ржой,
дождь наполняет оттиск подошв, в колесных следах кипит;
Желтого солнца отражается в Донамойне
резкий свет в лужах, принявших форму копыт.

Идем же, Воображение, в этот железный дом,
увидим в дверной проем – будут годы назад лететь,
и что там писал крестьянин на полях левой рукой.
Тише, октябрь. Не кудахтать, не крикать, не ржать, не шелестеть.

MEMOIR

THE FIFTIES: A MEMOIR (extract)

Thomas Kilroy

Two: Over the Backyard Wall

Bless 'em All, Bless 'em All,
The Long and the Short and the Tall,
Bless De Valera and Sean MacEntee,
Who gave us brown bread and the half ounce of tea,
Bless 'em Al, Bless 'em All, Bless 'em All ---

I was a child of the Hitler War. That old, mocking song about efforts at war time rationing by members of the Irish government, itself a parody of a famous World War One British Army, sing-along march, rang through my childhood. When World War II started in September 1939 I was just a few weeks short of my fifth birthday. But where I came from, Callan, in County Kilkenny, the real news that month was not the outbreak of war but the All Ireland Hurling final in Croke Park on the third of September between the teams of Kilkenny and Cork, black and amber striped jerseys of Kilkenny against that vivid red of Cork.

Callan is almost on the Tipperary border which meant that it was also on the border between two competitive hurling provinces, Leinster and Munster. We lived out that old hurling rivalry between Kilkenny and Cork or Kilkenny and Tipperary on the streets of our town. From across the Tipperary county line the boys from Mullinahone would cycle into Callan after a Tipperary or Cork win and raise hullabaloo in the pubs to taunt the defeated locals.

On that dark Sunday in 1939, a few days after the declaration of war, Kilkenny beat Cork by a single point in the All Ireland Final in Dublin. In keeping with the apocalyptic mood of the times a severe thunderstorm broke over Croke Park in the second half of the match. It was said that Jimmy Kelly from Carrickshock took off his boots and socks and in his bare feet sent over the winning point for Kilkenny. But it was also said that few could see him through the torrential rain.

МЕМОАРЫ

ЗАПИСКИ О ПЯТИДЕСЯТЫХ (фрагмент)

Томас Килрой

Перевод Л. Мотылева

2. За оградой заднего двора

Храни их всех, Боже, храни их всех, Боже,
И тех, кто постарше, и тех, кто моложе,
Поклон Де Валере¹ за хлебный паек,
А Макенті² – за жидкий чаек.
Храни их всех, Боже, храни их всех, Боже...

Я дитя войны, развязанной Гитлером. Эта старая пародия на знаменитый британский военный марш времен Первой мировой, песенка, высмеивавшая карточную систему, которую ввело ирландское правительство, звучала все мои детские годы. Когда в сентябре 1939 года началась Вторая мировая, мне было без нескольких недель пять лет. Однако новостью месяца в Каллане, графство Килкенни, где я родился, была отнюдь не война, а финальный матч чемпионата Ирландии по хёрлингу третьего сентября на дублинском стадионе «Кроук-Парк» между командами графств Килкенни и Корк: черные и янтарные полосы Килкенни против ярко-красной спортивной формы Корка.

Каллан расположен у самой границы с графством Типперери – то есть, помимо прочего, на рубеже двух провинций, Ленстер и Манстер, непримиримо соперничающих в хёрлинге. Старинное противостояние между болельщиками из Килкенни и Корка или из Килкенни и Типперери нередко давало себя знать на улицах нашего городка. После победы Типперери или Корка парни из Маллинахона, находящегося уже в Типперери, приезжали на велосипедах в Каллан и поднимали шум в пабах, чтобы позлить местных, чья команда проиграла.

В то непогожее воскресенье 1939 года, спустя два дня после начала войны, команда Килкенни в дублинском финале обыграла Корк с разрывом всего в одно очко. Во втором тайме над «Кроук-Парком» разразилась жестокая гроза под стать апокалиптическим мировым событиям. Рассказывали, что Джимми Келли из Каррикшока снял бутсы и носки и босиком заработал для Килкенни победное очко. Но говорили также, что из-за ливня мало кто это видел.

1 Эмонн Де Валера (1882 – 1975) – премьер-министр Ирландии (1932 – 1948, 1951 – 1954, 1957 – 1959), президент страны (1959 – 1973). (Здесь и ниже – прим. перев.)

2 Шон Макенті (1889 – 1984) – ирландский политический деятель, занимал на протяжении своей долгой карьеры различные правительственные посты.

On the morning of the match the Dail or Irish Parliament had rushed through the Emergency Powers Act, which effectively gave Ireland its controversial neutrality in the war. In a typically Irish deployment of the English language the war years were known as 'The Emergency', although whose emergency exactly was never quite specified.

High up on a cement wall in the centre of our town was a half-moon of painted lettering with the words 'Callan Co-Op'. This was covered with canvas throughout the war. We children were told it was 'camouflage', to drive astray any bombers that might just happen to be passing by overhead and unable to see that they were over Callan. The canvas stayed there for years after the last shot was fired, a forgotten remnant. During the war we looked nervously at the sky as we walked back and forth to the Christian Brothers School on West Street or, earlier in life, when we trooped to the Convent of Mercy School at the end Bridge Street. Not a plane in sight.

There were ration books with detachable coupons to hand over to the shop in return for the rationed item. And there was, inevitably, black-marketeering, particularly of petrol and tea. My father was the local police sergeant. Like many policemen he had a complex relationship with those who broke the law, a kind of intimacy, I suppose, out of a shared interest in transgression. I remember each Christmas during the war the arrival of an unexplained parcel at the house from one of the town shopkeepers. It contained tea, sugar and other supplies. All from the black market. Pay back, no question about it, to my father, but for what service he had rendered to the lawbreaker I can only guess.

He read the Irish Press each evening at the head of the kitchen table. Around the table my brothers and sisters and myself could see black arrows on simple maps on the front page of the newspaper marking the progress of armies across Europe and North Africa. The war was out there and far away.

I also remember that when we went to the matinee at the local cinema on a Saturday afternoon, the burly owner, Bill Egan, in his kiosk would (only sometimes, it has to be said) look closely at us and then wave our few coppers away with his hand, saying, 'Pass along! Pass along!' I suppose we thought that such largesse was an entitlement to children of a policeman and I doubt that we ever worried about what was going on behind the scenes as Bill was known as a man who could find petrol when it was needed.

Sometimes, our father listened, late at night, with some of his pals, to Lord Haw Haw on the wireless. This was the nickname of William Joyce who broadcast in English for the Nazis in their elaborate propaganda machine. My father, from Galway himself, took pride in the fact that Joyce also had Galway connections.

In the dark from our beds upstairs we heard the nasal, mocking voice of Lord Haw-haw 'Germany Calling! Germany calling! And now this is your commentator on the news, Willam Joyce'.

Утром в день игры Дойл (ирландский парламент) в спешном порядке принял Закон о чрезвычайном положении, который фактически предопределил нейтралитет Ирландии в годы войны, вызвавший столько споров. На типично ирландском английском военное время стали называть периодом чрезвычайного положения, хотя чье именно положение было чрезвычайным, никогда толком не объяснялось.

Высоко по цементной стене в центре городка полумесяцем шла цветная надпись: «Калланское кооперативное общество». В годы войны эта надпись была завешена холстиной. Нам, детям, говорили: это камуфляж, чтобы пилоты бомбардировщиков, какие могут пролететь, не увидели, что находятся именно над Калланом. Не один год после того, как прозвучал последний выстрел Второй мировой, холст – забытый пережиток – продолжал там висеть. Во время войны, идя в школу Братьев-христиан на Уэст-стрит или, кто помладше, в школу при монастыре Милосердия в конце Бридж-стрит, мы с опаской поглядывали на небо. Ни одного самолета.

Всем выдавали книжечки с отрывными талонами, которые в магазинах обменивались на товары, подлежащие рациированию. Само собой, имелся и черный рынок, в особенности бензина и чая. Мой отец занимал должность сержанта местной полиции. Как и многие другие полицейские, он был в непростых отношениях с нарушителями закона – это была, полагаю, близость своего рода, результат общей заинтересованности. Помню, перед каждым Рождеством во время войны приходила посылка от одного из городских лавочников, а почему – взрослые не объясняли. Чай, сахар, другие продукты – всё с черного рынка. Несомненно, в благодарность моему отцу, но за какие особые услуги – можно только гадать.

Каждый вечер он, сидя на кухне во главе стола, читал «Айриш пресс». Мы с братьями и сестрами, сидевшие за тем же столом, видели на первой странице газеты упрощенные карты с черными стрелками, изображавшими продвижение армий по Европе и Северной Африке. Война шла где-то там, далеко от нас.

Помню я и другое: когда мы в субботу ходили на дневной сеанс в местный кинотеатр, Билл Иган, его дородный владелец, сидя за окошечком кассы, вглядывался в нас, узнавал и (не каждый раз, впрочем) отмахивался от наших монеток: «Проходите! Проходите!» Мы, кажется, считали такое послабление детям полицейского само собой разумеющимся и едва ли хоть раз задумались о подоплеке – при том, что Билл был известен как человек, всегда способный раздобыть бензин, если он нужен.

Иногда, поздно вечером, наш отец с приятелями слушал по радио Лорда Хо-Хо. Так прозвали Уильяма Джойса, который, служа нацистам, создавшим изоцистскую пропагандистскую машину, вещал из Германии на английском языке. Уроженец Голуэя, отец гордился тем, что у Джойса тоже голуэйские корни.

Лежа в темноте в кроватях на втором этаже, мы слышали гнусавый, издевательский голос Лорда Хо-Хо: «Говорит Германия! Говорит Германия! На очереди комментарии к новостям, с ними выступлю я, Уильям Джойс».

Nearly half a century later I was to write a play, *Double Cross*, for the Field Day Theatre Company, about that voice. The play came directly out of the memory of my father and his friends loudly debating the imminent defeat of England downstairs in the kitchen.

Our own defenders, the Local Defence Force (LDF) and the Local Security Force (LSF), would parade on special days like St. Patrick's Day. They were always accompanied by the local unit of the St. John's Ambulance Brigade led by the local chemist, Mick Bradley, all kitted out in their smart grey uniforms, with round tin helmets, emblazoned with scarlet red crosses. 'Will ya look at the chamber pots on their heads!' our ample neighbour Mrs. Barry would say, leaning over her front wall on Green View Terrace.

We had our brief taste of the real thing, too, when a large contingent of the Irish army camped out around the town on the way to manoeuvres by the River Blackwater in August 1942. General MacNeill and General Costello squared off before one another in a mock battle there in the one serious exercise of the army during the war. Everyone was proud of the uniforms and guns and the neat rows of tents in the fields of Westcourt outside our town, convinced that we were ready to take on anyone, Jerries or Tommies or Yanks. But it was to be another army from another time, that of Oliver Cromwell, which really took hold of my imagination as a child, staying with me to the present day. Cromwell had left his mark on that field over our backyard wall.

Callan was what used to be called a market town of somewhere between one and two thousand inhabitants. In other words it had no indigenous industry as such but provided services for the local farming community. Indeed, I remember it as having a kind of cashless economy with a lot of ingenious improvisation going on between the mothers to get through the week, a ten shilling note borrowed here, a few half-crowns borrowed there. Lines of carts, pulled by horses or donkeys passed our front door each morning with churns of milk for the local creamery. On their way back they carried skimmed milk for the calves back home.

My mother had a deal with a local farmer, Pat Delaney of Coolagh, where she filled a bucket from a churn of skimmed milk from his cart and occasionally bought a pound of butter at the creamery. Pat did the buying for her. She used the skimmed milk to bake delicious soda-bread and currant buns and, more surprisingly, as a wash to bring up the bright red of the painted floor of our kitchen.

Behind our house at Number 4, Green View Terrace, was a narrow backyard. Each of the ten houses on the terrace had one. The walls were high enough to prevent prying so that our mother had to stand on an upturned box or galvanized bucket when she wanted to gossip with jolly Mrs. Barry next door.

That backyard was the first place of confinement that I had to escape from. Physical places become part of our imagination as we leave them behind. When they are left behind they take on new, imagined shapes with only a partial connection to the original.

Почти полвека спустя я написал об этом радиоголосе пьесу «Предательство» для театральной компании «Филд Дэй». Пьеса прямо проистекает из моих воспоминаний о том, как отец с друзьями громко обсуждали внизу, на кухне, неизбежное поражение Англии.

Что касается нашей собственной обороны, по праздникам – например, в День Св. Патрика – Местные силы самообороны (МСС) и Местные силы безопасности (МСБ) устраивали парад. К ним всегда присоединялось местное отделение Санитарной бригады Св. Иоанна во главе с Миком Брэдли, нашим аптекарем: все в щегольских серых формах и круглых железных касках с ярко-красными крестами. «Надо же, ночные горшки на головы напялили!» – говорила, глядя через забор на улицу, миссис Барри, наша толстенная соседка по Гринвью-террис.

Впрочем, в августе 1942 года мы ненадолго ощутили вкус чего-то настоящего: около Каллана встал лагерь, направляясь на маневры близ реки Блекуотер, большой контингент ирландской армии. Во время этих маневров, ставших для армии единственным серьезным испытанием за все военные годы, генерал Макнил и генерал Костелло померились силами в учебном бою. Местные жители с гордостью смотрели на военную форму, на оружие, на ровные ряды палаток в Уэсткортском поле близ нашего городка, убежденные, что мы готовы дать отпор кому угодно – хоть фрицам, хоть английским томми, хоть янки. Но моим воображением в детстве овладело другое войско из другой эпохи – войско Оливера Кромвеля, и оно пребывает со мной по сей день. Кромвель оставил свой след на поле за оградой нашего заднего двора.

Каллан с населением между тысячей и двумя был, что называется, базарным городком. Иными словами, он, не имея собственной промышленности, предоставлял услуги местному фермерскому сообществу. В нем, насколько помню, действовала своего рода бартерная экономика, при которой матери семейств, чтобы перебиться очередную неделю, пускались на всевозможные ухищрения: занимали десять шиллингов тут, несколько полукрон там. Каждое утро мимо нашей двери проезжала вереница телег, запряженных лошадьми или осликами, с большими бидонами молока для местной маслобойни. Обратное везли снятое молоко для телят.

У моей матери было соглашение с местным фермером Патом Делейни из Кула: он наливал ей из бидона ведро снятого молока и время от времени брал для нее на маслобойне фунт масла. На этом молоке она пекла чудесный хлеб из содового теста и булочки с изюмом, а еще, как ни странно, она мыла им красный крашеный пол на кухне, от чего цвет пола становился особенно ярким.

За нашим домом – Гринвью-террис, 4 – был узенький задний двор. Такой имелся при каждом из десяти домов террасы – сплошного ряда одинаковых жилых строений. Заборы были достаточной высоты, чтобы так просто заглянуть в чужой двор не получалось, поэтому мама, когда хотела посплетничать с жизнерадостной миссис Барри, становилась на перевернутый ящик или на оцинкованное ведро.

Этот задний двор стал первым «местом заключения», откуда мне надо было освобождаться. Физические участки, когда мы оставляем их позади, переходят в сферу нашего воображения. Оставленные позади, они принимают новые, воображаемые формы, лишь отчасти связанные с реальностью.

Spaces of wonder, curiosity and surprises. Spaces to be negotiated and renegotiated, walls to be climbed in the discovery of somewhere else.

If this is to be a memory book it is also a book about a writer in his seventies playing with those memories and trying to see how this past became usable in writing. Maybe this is another reason why fiction bleeds into the memories in this book, why I have to invent as well as remember.

I am also trying, in my final years, to make even partial sense out of personal obsessions or phobias. Top of that list would be my detestation of all things military, including the absurdity of even wearing uniforms. Is this connected to the fact that my father was a policeman?

Это зоны, полные чудес, загадок и открытий. Зоны, откуда снова и снова надо выбираться, ограды, через которые надо перелезть, чтобы обнаруживать нечто иное.

Эта книга – не только книга воспоминаний, но и книга о писателе, играющем на восьмом десятке с этими воспоминаниями и пытающемся понять, какое воздействие прошлое оказало на его литературные труды. Может быть, здесь одна из причин тому, что вымысел в этой книге вплетается в мемуары, тому, что я не только вспоминаю, но и сочиняю.

И еще я пытаюсь под конец жизни хоть в какой-то мере разобраться в своих личных навязчивых идеях и фобиях. На первом месте в их перечне стоит мое отвращение ко всему военному, включая даже ношение формы как таковое, которое кажется мне нелепостью. Нет ли тут связи с тем, что мой отец был полицейским?

POETRY

CROSSING THE SOUND

Gerald Dawe

I

Driving to the island we cross the Sound -
Cathedral cliff, deserted village, protestant mission.

A spider's web, bleached in what sun there's been,
stretches in a window of your get-away home.

Heaven knows the tales you left behind
of war and soldiering, cities razed to the ground.

II

I find a picture of the man in a beret,
his laughing furrowed face, and letter home.

'In a couple of days we will watch
shark fishing. We are very happy here.'

ПОЭЗИЯ

ДОРОГА НА ОСТРОВ

Джеральд До

Перевод Алеши Прокопьева

I

Чтобы добраться до острова, нужно миновать пролив,
мощный, как собор, утес, оставленную деревню, протестантскую миссию.

В твоём тихом убежище на сквозняке колышется
паутина, побелевшая в том месте, где на нее падало солнце.

Только небу известно, какие ещё истории ты не рассказал:
о войне и армейской службе, разрушенных до основания городах.

II

В доме я нашел фото Белля, он был в берете,
лицо – в морщинках от смеха, и письмо отцу.

«Через пару дней будем наблюдать
за акульей охотой. Нам здесь очень хорошо».

DIARRHOEA ATTACK AT PARTY HEADQUARTERS
IN LENINGRAD

Paul Durcan

An attack of diarrhoea at Party Headquarters in Leningrad
Was not something I imagined ever happening to me
Which is perhaps partly why it did happen to me.
The presidium had barely taken its place
Under the iconic portraits of V.I. Lenin and M.S. Gorbachev
When I could feel the initial missiles
Firing down the sky of my stomach
Setting in motion something that was irreversible –
The realpolitik of the irreversible.
The only consolation was that I was wearing underpants.
The fact is that sometimes I do not wear underpants.
Oddly enough I was wearing red underpants
Which I had originally purchased in Marks & Spencer's.
The first explosion resulted in immediate devastation –
The ensuing explosions serving only to define
The innately irreversible dialectic of catastrophe.
I whispered magnanimously into the earhole of my interpreter.
He reciprocated that since he also had “a trauma of the intestine”
We should both take our leave immédiatement and he showed me
Such fraternal solicitude that in my mind's eye
I can still see Lenin peering down at me
As if he were peering down at nobody else in the hall.
A black Volga whisked us back to our hotel and ignominy –
My ignominy — not anybody else's ignominy — and that night
Over cups of tea we discussed the war in Afghanistan,
Agreeing that realistically it appeared an insoluble problem,
Yet hoping against hope that somehow it would be solved
And that — as you put it, Slava — “Russian boys come home.”
There is nothing necessarily ignominious about anything.

ПРИСТУП ПОНОСА ВО ВРЕМЯ ЗАСЕДАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБКОМА

Пол Деркан

Перевод Алеши Прокопьева

Приступ поноса во время заседания Ленинградского обкома:
Я и представить себе не мог, что такое случится со мной,
Может быть, именно потому оно со мной и случилось.
Не успел президиум занять свои места
Под неизменными портретами Ленина и Горбачева,
Как я почувствовал первые ракеты,
Разрывающиеся в мирном небе моего живота.
Мало того, процесс, там начавшийся, был необратимым –
Такая вот реальная политика: процесс, что называется, пошел.
Единственным утешением было то, что на мне оказались трусы.
Дело в том, что иногда я не надеваю под брюки трусы.
Странно было также, что на мне были красные трусы,
Купленные в магазине Marks & Spencer.
Первый же взрыв снаряда вызвал полное опустошение,
Последующие всего лишь подтвердили
Внутренне необратимую диалектику катастрофы.
Я прошептал несколько слов на ухо переводчику.
Он ответил, что поскольку у него «кишечник тоже травмирован»,
То лучше всего будет, если мы покинем помещение *immédiatement*,
Оказав мне тем самым такую братскую поддержку, что я до сих пор
Помню пристальный ленинский взгляд,
Каким вождь, висящий в зале, не глядел больше ни на кого.
Черная «Волга» доставила нас к нашему отелю и моему позору –
Ибо это был мой позор, мой – и ничей больше; – в тот вечер,
Обсуждая за чашкой чая войну в Афганистане,
Мы согласились, что реалистично считать эту проблему неразрешимой,
И все-таки, вопреки всему, надеялись, что она как-нибудь решится
И что – как ты сказал, Слава, – «русские мальчишки вернутся домой».
Так что стыд никому на свете глаза не выест...

WATER TO WATER, SALT TO SALT

Nell Regan

I want to tell you about the child;
how she followed a gull with her eyes,
then her neck extended, body lifted,
and arms out flung so she all but
took flight with hardly a breath
between seeing and becoming;

I want to tell you about the harbour;
how its wall is an arm I swim within
as salt and sun work an alchemy
in my body; how its cupped hand
is the bell tower of the church whose
stones are sunk below the water,

and I want to tell you about the church;
how its back wall is a great baroque
confection, illuminating the gloom,
but these salted prayers dissolve the tiles
as the sea rises and its undertow hauls
me back to where your coffin set sail.

СОЛЬ К СОЛИ, ВОДА К ВОДЕ

Нелл Риган

Перевод Алеши Прокопьева

О девочке я расскажу тебе:
как она, глядя на чайку, вдруг
выгнула шею, раскинула руки,
всем телом легла на воздушный поток
и словно вправду за ней полетела
в неуловимое взглядом мгновенье;

О гавани я расскажу тебе:
как стена ее словно рука вполохвата,
и я там плыву; и как солнце и соль
преображают меня; словно горсть
чашей, стоит колокольня при церкви,
камни которой уходят под воду,

А вот что о церкви тебе расскажу:
как стены ее, причудливой кладки,
сахарно-сладки, рассеяли мрак,
но от соленых молитв потекли,
тая; как пятясь волна увлекла
меня по морям вслед за гробом твоим...

WOMEN AT THE WELL

Philip McDonagh

For a splash of sweet water
women await their turn
right up to night's fall
as undemonstrative
as if they stood
kiln-hardened and slack-bellied
in that curved line of jars:
green dresses, pink tops, and orange veils
as gallant as flesh on bone.

ЖЕНЩИНЫ У ИСТОЧНИКА

Филип Макдона

Перевод Алеши Прокопьева

Зачерпнуть свежей воды
до прихода ночи
женщины стоят друг за дружкой
со скромным достоинством
как стояли для обжига
в печах их кувшины такие же
пузато-округлые: зелено-розовые
сари с оранжевыми накидками –
отважно-галантны – земная персть.

THE BURDEN OF CLOTH

Eiléan Ní Chuilleanáin

The one playing the Cardinal is attended
by troops of acolytes to carry the loaded train.
The light pauses on the fine wristbands,
on the stem glass held high, the tight lip,
the sip and sniff that condemns. The director
calls time, everyone struggles out of the skirts

– and still it's not clear which one is the star player.
But they've gone, and the clothes are abandoned in piles:
the nuns' veiling, the calico painted with wild scenes,
the lace all full of holes. The studio curtains
are lined and patched at random to stifle sound,
but a window falls open somewhere and down they come tumbling.

There like the ranged cumuli they must wait looming
until someone comes to carry them all away.

– But who can it be, and is it because of the colours,
ghosts of burgundy, pale roses, that misted white,
that he stands there, shuddering like a flame wedded
to its candle, guarding a greyness at its core, waiting,

which is why it seems so difficult at last to handle and stack
the whole folded history balanced on two bone shoulders.

ГРУДА ТКАНЕЙ
Элейн Ни Хиллинан
Перевод Алеши Прокопьева

Толпа служителей несет за исполняющим
роль кардинала тяжелый шлейф.
Юпитеры высвечивают изысканные манжеты,
поднятый вверх бокал, сжатые губы,
глоток и гримасу неудовольствия. Режиссер
объявляет перерыв, все выбираются из мантий:

но все еще не ясно, кто здесь главная звезда;
однако народ расходится, и одежда свалена в кучу:
покрывала монахинь, ткани с рисунками жестоких
сражений, кружева. Звукопоглощающие
занавески с заплатами уплотнений,
когда где-то открывается окно, с шумом падают на пол.

Ткани высятся, как нагромоздившиеся облака,
пока кто-нибудь не унесет их отсюда.
– Но кто это может быть, и не цвет ли тому виной,
красный – бургундского, розовый – роз, и этот туманный белый,
что вон он стоит, колеблясь, как пламя, обрученное
со свечой, охраняя тьму в ее сердцевине, и медлит,

и не из-за этих ли красок кажется так трудно взять и унести
всю эту груду истории в тряпках на смертных плечах.

ENEMIES
Pádraic Fiacc

At the Gas and Electric Offices
Black boats with white sails
Float down the stairs

Frightening the five-year-old
Wee Protestant girls...

'Nuns, nuns,' one of them yells,
'When are yez go'n to git
 morried?'

ВРАГИ

Подрик Фиякк

Перевод Алеши Прокопьева

По ступенькам энергетической компании

Плывут черные каравеллы

С белыми парусами,

Пугая пятилетних

девочек-протестанток...

«Монашки, монашки, – кричит одна малышка, –

Где же ваши

женишки?»

MY DEAR FRIEND

Peter Sirr

My dear friend
what exactly were you thinking of?
If I didn't love you more than my own eyes
I'd hate you as we all hate the bastard Vatinius
for this unwelcome gift. Do you really hate me so much
that you reward me with this gaggle of poets?
May the gods infest whoever gave them to you.
They flap and squawk and foul the vestibule.
How can I rest when they're in the house?
Here they go, out with the leftovers, they can
podcast to the rats if they can manage it, ah rats
quick, run for cover before they addle your wits.

From *Carmina*

МИЛЫЙ ДРУГ

Питер Серр

Перевод Алеши Прокопьева

Милый друг,
что это ты придумал?
Если глаз ты не был бы дороже,
как Ватиния, тебя б возненавидел
за подарок неуместный. Что я сделал,
что наслал ты на меня поэтов?
Будь советчик твой богами впредь наказан.
Как же все они галдят в дверях и гадят!
Мне теперь и дома нет покоя?
На помойку прочь идите, крысам,
если сможете, мозг засирать. Эй, крысы!
Слышали? Бегите прочь скорее!

Из Катутла

LEITHSCÉAL
Aifric Mac Aodha

M'athair is mo mháthair
Asam, bhí mórálach:
Ní ligfidís le héinne é
Gur scaoileas tharam a dtóramh.

D'filleas orthu blianta anonn:
Bhí gnaíte ar a gcónraí.
Chuireas gaiste síos don fhrancach
Ach níor cheapas ann ach smólach.

ОПРАВДАНИЕ

Афърик Макэй

Перевод Алеши Прокопьева

Гордятся мной отец и мать,
не смея упрекнуть,
что не приехала я в срок
домой – их помянуть.

Вернувшись через много лет,
в прогрызенных гробах
на крыс я ставлю западню,
ловлю же только птах.

COINNLE AR LASADH

Máirtín Ó Direáin

(Do mo mháthair)

Oileán beag i gcéin san Iarthar
Beidh coinnle ar lasadh anocht,
I dtíthe ceann tuí, is i dtíthe ceann slinne,
Dhá cheann déag de choinnle geala a bhéas ar lasadh anocht

Mo chaoibheannacht siar leis na coinnle geala
A bhéas ar lasadh anocht
Is céad beannacht faoi dhó
Le lámh amháin a lasfas coinnle anocht.

(Oíche Chinn an Dá Lá Dhéag, 1939)

СВЕЧИ

Мартинь О Дирянъ

Перевод Юлия Гуголева

(Моей матери)

Далёко на западе есть островок,
Там свечи зажгут в ночи.
Под крышей из шифера или тростника -
двенадцать свечей в ночи.

Я тихо благословляю свет
ярких свечей в ночи.
Да будет благословенней стократ
Та рука, что зажжет их в ночи.

(Праздник двенадцатой ночи, 5 января 1939 г.)

CAPALL BÁN
Caitriona Ní Chléirchín

Tá capall bán fút, a chroí,
capall bán na síoraíochta,
capall bán an tsuaimhnis,
capall bán na séimhe.
Na bíodh ort aon sceimhle.
Beir greim ar a moing.
Capall bán caoin fút,
capall ceannann fút.
Coinnigh greim uirthi
is tú ag dul thar tairseach.
Caithfidh tú gabháil thar tairseach.
Sin an méid, a chroí
is beidh do chapall bán fút,
nuair a théann tú go dtí an tír ina mbíonn sé ina shamhradh i gcónaí ann.

Trua nach dtig liom féin gabháil i do theannta.

БЕЛАЯ КОБЫЛА
Катриона Ни Хлерхин
Перевод Алеши Прокопьева

На белой кобыле поедешь, любимая,
на белой кобыле вечности,
на белой кобыле спокойствия,
на белой кобыле самой доброты.
Не бойся, любимая, белой кобылы,
схватись покрепче за гриву ее,
когда ты поедешь на белой кобыле,
на кроткой, со звездочкою на лбу.
Держись покрепче, когда ты поедешь,
когда поедешь на ней через Стикс.
Тебе ведь туда, а другого пути
туда не найти.
На белой кобыле приедешь в страну,
где вечное лето, любимая.

Как жаль, что нельзя мне поехать с тобой...

DRAMA

BY THE BOG OF CATS

Marina Carr

Act One

SCENE ONE

Dawn. On the Bog of Cats. A bleak white landscape of ice and snow. Music, a lone violin. Hester Swane trails the corpse of a black swan after her, leaving a trail of blood in the snow. The Ghost Fancier stands there watching her.

Hester Who are you? Haven't seen you around here before.

Ghost Fancier I'm a ghost fancier.

Hester A ghost fancier. Never heard tell of the like.

Ghost Fancier You never seen ghosts?

Hester Not exactly, felt what I thought were things from some other world betimes, but nothin' I could grab on to and say, 'That is a ghost.'

Ghost Fancier Well, where there's ghosts there's ghost fanciers.

Hester That so? So what do you do, Mr Ghost Fancier? Eye up ghosts? Have love affairs with them?

Ghost Fancier Dependin' on the ghost. I've trailed you a while. What're you doin' draggin' the corpse of a swan behind ya like it was your shadow?

Hester This is auld Black Wing. I've known her the longest time. We used play together when I was a young wan. Wance I had to lave the Bog of Cats and when I returned years later this swan here came swoopin' over the bog to welcome me home, came right up to me and kissed me hand. Found her frozen in a bog hole last night, had to rip her from the ice, left half her underbelly.

Ghost Fancier No one ever tell ya it's dangerous to interfere with swans, especially black wans?

ДРАМАТУРГИЯ

У КОШКИНОЙ ТОПИ

Марина Карр

Перевод В. Гольшиева

Акт 1

Сцена 1

Рассвет. На Кошкиной топи. Унылый белый пейзаж – снег и лед. Музыка – одинокая скрипка. Хестер Суэйн волочит труп черного лебедя, оставляя на снегу кровавый след. Любитель призраков стоит и смотрит на неё.

Хестер. Кто ты? Раньше я тебя не видела.

Любитель призраков. Я любитель призраков.

Хестер. Любитель призраков? Отродясь о таких не слыхала.

Любитель призраков. Призраков никогда не видела?

Хестер. Чтобы прямо так – нет. Бывало, померещится, будто оно из другого мира. Но чтобы схватить и сказать: «Вот он призрак», – это нет.

Любитель призраков. Ну, где призраки, там и любители призраков.

Хестер. Вот как? Так чем ты промышляешь, Любитель призраков? Любуешься на них? Любишься с ними?

Любитель призраков. Смотря какой призрак. Вот за тобой сейчас ходил. Ты зачем таскаешь за собой мертвого лебедя, словно свою тень?

Хестер. Это старушка Чернокрылка. Старинная моя подруга. Мы с ней играли, когда я маленькая была. Раз пришлось уехать с Кошкиной топи, а когда вернулась через несколько лет, эта лебедь прилетела поздороваться со мной – пронеслась над болотом, подлетела и поцеловала в руку. Вчера вечером нашла ее замерзшую в ямине, еле ото льда оторвала, да полживота так там и осталось.

Любитель призраков. Тебе никто не говорил, что с лебедями якшаться опасно, особенно с черными?

Hester Only an auld superstition to keep people afraid. I only want to bury her. I can't be struck down for that, can I?

Ghost Fancier You live in that caravan over there?

Hester Used to; live up in the lane now. In a house, though I've never felt at home in it. But you, Mr Ghost Fancier, what ghost are you ghoulin' for around here?

Ghost Fancier I'm ghoulin' for a woman be the name of Hester Swane.

Hester I'm Hester Swane.

Ghost Fancier You couldn't be, you're alive.

Hester I certainly am and aim to stay that way.

Ghost Fancier (*looks around, confused*) Is it sunrise or sunset?

Hester Why do ya want to know?

Ghost Fancier Just tell me.

Hester It's that hour when it could be aither dawn or dusk, the light bein' so similar. But it's dawn, see there's the sun comin' up.

Ghost Fancier Then I'm too previous. I mistook this hour for dusk. A thousand apologies.

Goes to exit, Hester stops him.

Hester What do ya mean you're too previous? Who are ya? Really?

Ghost Fancier I'm sorry for intrudin' upon you like this. It's not usually my style. (*Lifts his hat, walks off.*)

Hester (*shouts after him*) Come back! — I can't die — I have a daughter.

Monica enters.

Monica What's wrong of ya, Hester? What are ya shoutin' at?

Hester Don't ya see him?

Monica Who?

Hester Him!

Monica I don't see anywan.

Hester Over there. (*Points*)

Хестер. Старое суеверие – только чтоб людей пугать. Я похоронить ее хочу. Что ж, убьют меня за это?

Любитель призраков. Ты в фургоне там живешь?

Хестер. Раньше жила, теперь – на улице. В доме. Хотя я в нем никогда себя не чувствую как дома. А ты, господин Любитель призраков, какую нежить тут разыскиваешь?

Любитель призраков. Разыскиваю женщину по имени Хестер Суэйн.

Хестер. Я Хестер Суэйн.

Любитель призраков. Ты не Хестер Суэйн, ты живая.

Хестер. Конечно, живая, и собираюсь дальше жить.

Любитель призраков (*озирается в замешательстве*). Сейчас рассвет или закат?

Хестер. Зачем тебе знать?

Любитель призраков. Ты ответь просто.

Хестер. Это такой час, когда и на рассвет похоже, и на вечер. Освещение одинаковое. Но сейчас рассвет – видишь, солнце всходит.

Любитель призраков. Тогда я очень поспешил. Думал – смеркается. Тысяча извинений.

Собирается уйти. Хестер его останавливает.

Хестер. Что значит, ты поспешил? Кто ты на самом деле?

Любитель призраков. Извини, что привязался с разговорами. Вообще, это не в моем обычае. (Приподнимает шляпу, идет прочь.)

Хестер (кричит ему вслед). Вернись!.. Мне нельзя умирать... У меня дочь.

Входит Моника.

Моника. Что с тобой, Хестер? На кого ты кричишь?

Хестер. Ты его не видишь?

Моника. Кого?

Хестер. Его!

Моника. Никого не вижу.

Хестер. Да вон же. (*Показывает.*)

Monica There's no wan, but ya know this auld bog, always shiftin' and changin' and cod-din' the eye. What's that you have there? Oh, Black Wing, what happened to her?

Hester Auld age, I'll wager, found her frozed last night.

Monica (*touches the swan's wing*) Well, she'd good innin's, way past the life span of swans. Ya look half frozed yourself, walkin' all night again, were ya? Ya'll catch your death in this weather. Five below the forecast said and worser promised.

Hester Swear the age of ice have returned. Wouldn't ya almost wish if it had, do away with us all like the dinosaurs.

Monica I would not indeed — are you lavin' or what, Hester?

Hester Don't keep axin' me that.

Monica Ya know you're welcome in my little shack.

Hester I'm goin' nowhere. This here is my house and my garden and my stretch of bog and no wan's runnin' me out of here.

Monica I came up to see if ya wanted me to take Josie down for her breakfast.

Hester She's still asleep.

Monica The child, Hester, ya have to pull yourself together for her, you're goin' to have to stop this broodin', put your life back together again.

Hester Wasn't me as pulled it asunder.

Monica And you're goin' to have to lave this house, isn't yours any more. Down in Daly's doin' me shoppin' and Caroline Cassidy there talkin' about how she was goin' to mow this place to the ground and build a new house from scratch.

Hester Caroline Cassidy, I'll sourt her out. It's not her is the problem anyway, she's just wan of the smaller details.

Monica Well, you've left it late for dealin' with her for she has her heart set on everythin' that's yours.

Hester If he thinks he can go on treatin' me the way he's been treatin' me, he's another thing comin'. I'm not to be flung aside at his biddin'. He'd be nothin' today if it wasn't for me.

Monica Sure the whole parish knows that.

Hester Well, if they do, why're yees all just standin' back and gawkin'. Thinks yees all Hester Swane with her tinker blood is gettin' no more than she deserves. Things yees all she's too many notions, built her life up from a caravan on the side of the bog.

Моника. Никого там нет. Ты же знаешь наше болото – зыбкое, переменчивое, морок наводит. Что это у тебя? А, Чернокрылка – что с ней?

Хестер. Старость, что же еще? Ночью нашла ее окоченелой.

Моника (*тронув крыло лебедя*). Она хорошо пожила – дольше лебединого века. Да ты сама, гляжу, окоченела, опять бродила всю ночь, а? Насмерть застудишься по такой погоде. Минус пять, сказали, а обещают еще холоднее.

Хестер. Видно, опять вернулся ледниковый период. Честное слово, хорошо бы так – заморозил бы нас, как динозавров.

Моника. Не хотелось бы... А ты уезжаешь, что ли?

Хестер. Перестань меня про это спрашивать.

Моника. Ты же знаешь – всегда буду рада приютить тебя в моей хибарке.

Хестер. Никуда я не поеду. Здесь мой дом, и садик, и кусок болота, и никто меня отсюда не выгонит.

Моника. Я зашла спросить, не хочешь ли, чтоб я накормила Джози завтраком?

Хестер. Она еще спит.

Моника. Ребенок, Хестер. Ради нее возьми себя в руки, хватит тебе тосковать, приведи свою жизнь в порядок, собери.

Хестер. Не я ее разбила.

Моника. И ты должна выехать из этого дома, он больше не твой. Я ходила в «Дейлис» за покупками, там Каролина Кэссиди разливалась, как она снесет все до основания и построит новый дом на голом месте.

Хестер. Каролина Кэссиди – с ней-то я разберусь. Не в ней дело, она – так, мелочь в этом деле.

Моника. Поздно ты взялась разбираться с Каролиной – она твердо решила захватить все, что было твоего.

Хестер. Если он думает и дальше обращаться со мной так, как сейчас, он у меня дождется. Я не вещь, чтобы выбросить меня когда захочется. Если бы не я, он так бы и был никем.

Моника. Да весь приход это знает.

Хестер. А если знают, чего же тогда стоят и плятятся? Думаете, Хестер Суэйн, дочь побродяги, кочевника получила то, что ей причиталось? Думаете, много о себе возомнила, выбравшись из фургона на краю болота. Думаете, много на себя взяла,

Thinks yees all she's taken a step above herself in gettin' Carthage Kilbride into her bed. Thinks yees all yees knew it'd never last. Well, yees are all thinkin' wrong. Carthage Kilbride is mine for always or until I say he's no longer mine. I'm the one who chooses and discards, not him, and certainly not any of yees. And I'm not runnin' with me tail between me legs just because certain people wants me out of their way.

Monica You're angry now and not thinkin' straight.

Hester If he'd only come back, we'd be alright, if I could just have him for a few days on me own with no wan stickin' their nose in.

Monica Hester, he's gone from ya and he's not comin' back.

Hester Ah you think ya know everythin' about me and Carthage. Well, ya don't. There's things about me and Carthage no wan knows except the two of us. And I'm not talkin' about love. Love is for fools and children. Our bond is harder, like two rocks we are, grindin' off of wan another and maybe all the closer for that.

Monica That's all in your own head, the man cares nothin' for ya, else why would he go on the way he does.

Hester My life doesn't hang together without him.

Monica You're talking riddles now.

Hester Carthage knows what I'm talkin' about — I suppose I may bury Black Wing before Josie wakes and sees her. *(Begins walking off.)*

Monica I'll come up to see ya in a while, bring yees up some lunch, help ya pack.

Hester There'll be no packin' done around here.

And exit both in opposite directions.

залучив к себе в постель Картаге Килбрайда. Мол, мы с самого начала знали, что это ненадолго. Зря вы так думаете. Картаге Килбрайд мой навсегда или пока не скажу, что не нужен. Это мне выбирать и отбрасывать, а не ему и не вам тем более. И я не побегу, поджав хвост, только потому, что кто-то хочет убрать меня с дороги.

Моника. Ты сейчас сердишься и не здраво рассуждаешь.

Хестер. Если бы он только вернулся, все наладилось бы у нас, если бы хоть пару дней пробыл со мной наедине и никто бы не совал свой нос...

Моника. Хестер, он ушел от тебя и не вернется.

Хестер. Ты думаешь, все знаешь про меня и Картаге. Нет, не знаешь. Есть такое, про что только мы двое знаем, Картаге и я. Я не о любви говорю. Любовь – это для дураков и детей. Наши узы покрепче, мы, как два камня, тремся друг о друга и только ближе делаемся от этого.

Моника. Все это – выдумки твои, ты ему безразлична, иначе бы он так не поступил.

Хестер. Без него моя жизнь не целая.

Моника. Загадками говоришь.

Хестер. Картаге знает, о чем я говорю... Похороню сейчас старушку Чернокрылку, пока Джози не проснулась. Не надо ей это видеть. *(Направляется прочь)*.

Моника. Загляну к тебе погода, принесу вам поесть, вещи помогу собрать.

Хестер. Никто тут вещи собирать не будет.

Уходят в разные стороны.

AUTHORS' BRIEF BIOGRAPHIES

Robert Tracy is emeritus Professor at the University of California, Berkeley. He has written extensively on Irish literature, including early material in the Irish language as well as Irish literature in English; Irish history and folklore; Victorian fiction, and Russian literary relations with Ireland and Britain.

Anne Enright (b. 1962) has written four novels, short stories, a non-fiction book and essays. Her novel, *The Gathering*, won the 2007 Man Booker Prize. In 2011 she edited *The Granta Book of the Irish Short Story*. See www.themanbookerprize.com/prize/authors/208

Hugo Hamilton (b. 1953) is the author of two memoirs, seven novels and one collection of short stories. *The Speckled People*, a German-Irish memoir of growing up in Dublin during the 50s/60s, has won prizes in France and Italy, and appeared on The New York Times notable books list. It was adopted for theatre in 2011. See www.hugohamilton.net

Colum McCann (b. 1965) is the award-winning author of five novels and two collections of short stories. His most recent novel, *Let the Great World Spin*, won worldwide acclaim, including the 2009 National Book Award in the U.S, the 2010 Best Foreign Novel Award in China, the 2011 International Impac Award, as well as a 2011 literary award from the American Academy of Arts and Letters. See www.colummccann.com

Claire Keegan (b.1968) won the Los Angeles Times Book of the Year for *Antarctica*, her first collection of stories. Her second, *Walk the Blue Fields*, was Richard Ford's book of the year. The stories have won several awards.

See <http://aosdana.artscouncil.ie/Members/Literature/Keegan.aspx?Cnuas=1>

Kevin Barry (b. 1969) won the Rooney Prize for Irish Literature for his short story collection *There are Little Kingdoms*. In 2011 he released his debut novel *City of Bohane*.

See <http://dublincitypubliclibraries.com/story/kevin-barry-transcript>

КРАТКИЕ БИОГРАФИИ АВТОРОВ

Роберт Трейси – заслуженный профессор Калифорнийского университета в Беркли, автор многочисленных работ об ирландской литературе, включая ранние произведения на ирландском языке и ирландскую литературу на английском, а также об ирландской истории и фольклоре, о викторианской литературе и литературных связях России с Ирландией и Британией.

Энн Энрайт (1962 г. р.) – автор четырех романов, а также рассказов, эссе и одной документальной книги. Ее роман «В кругу семьи» получил премию Букера в 2007 году. В 2011 г. она составила сборник ирландских рассказов для издательства «Гранта». См. www.themanbookerprize.com/prize/authors/208

Хьюго Хэмилтон (1953 г. р.) – автор двух книг мемуаров, семи романов и сборника рассказов. «Пегие люди», книга воспоминаний о детстве в ирландско-немецкой семье, проживавшей в Дублине в 50-е и 60-е годы, получила премии в Италии и Франции и была включена в список лучших книг «Нью-Йорк таймс». В 2011 г. по ней была поставлена пьеса. См. www.hugohamilton.net

Колум Макканн (1965 г. р.) – автор пяти романов и двух сборников рассказов. Его последний роман, «Пусть вертится огромный мир», получил широкое международное признание; в частности, в 2009 г. он был отмечен Национальной книжной премией США, в 2010 г. – премией за лучший зарубежный роман в Китае и в 2011 г. – Дублинской международной премией. В 2011 г. он был удостоен литературной премии Американской академии искусств и литературы. См. www.colummccann.com

Клер Киган (1968 г. р.) получила премию «Лучшая книга года» газеты «Лос-Анджелес таймс» за «Антарктику», свой первый сборник рассказов. Ее второй сборник, «Прогулки по голубым полям», стала лучшей книгой года по версии Ричарда Форда. Отдельные рассказы Клер Киган также были удостоены различных премий. См. <http://aosdana.artscouncil.ie/Members/Literature/Keegan.aspx?Cnuas=1>

Кевин Барри (1969 г. р.) – лауреат Ирландской премии Руни за сборник новелл «Есть маленькие царства». В 2011 г. вышел в свет его первый роман «Город Бохейн». См. <http://dublincitypubliclibraries.com/story/kevin-barry-transcript>

Deirdre Madden (b. 1960) has published seven novels and two novels for children. She has won several awards, including the Rooney Prize for Irish Literature, the Somerset Maugham Award and the Hennessy Award.

See <http://aosdana.artscouncil.ie/Members/Literature/Madden.aspx>

Abraham "Bram" Stoker (1847-1912) was an Irish novelist and short story writer best known today for his 1897 Gothic novel *Dracula*. During his lifetime, he was better known as personal assistant of actor Henry Irving and business manager of the Lyceum Theatre in London.

Patrick Kavanagh (1904-1967) was a leading Irish poet of the last century. His long poem, "The Great Hunger", and his novel, *Tarry Flynn*, have both been adopted for theatre.

See www.tcd.ie/English/patrickkavanagh

Thomas Kilroy (b. 1934) is a leading Irish playwright and novelist whose work has won many awards, including The Guardian Fiction Prize in 1971 and the Heinemann Award in 1972. In the late 1980s he was director of the Field Day Theatre Company. At the Irish Times/ESB Theatre Awards, 2004, he was presented with a Special Achievement Award for his contribution to theatre.

See <http://aosdana.artscouncil.ie/Members/Literature/Kilroy.aspx>

Paul Durcan (b. 1944) is one of Ireland's leading poets. His first collection, *O Westport in the Light of Asia Minor*, won the Patrick Kavanagh Award in 1975. Since then, he has won several awards, including the Irish American Cultural Institute Poetry Award, The Whitbread Prize and the London Poetry Book Society choice.

See <http://aosdana.artscouncil.ie/Members/Literature/Durcan.aspx>

Gerald Dawe (b. 1952) is a poet and critic. He has won several awards for his work, including the Macaulay Fellowship in Literature and the Ledig-Rowholt International Writers' Award. His poetry collections include *Lake Geneva* and *Points West*.

See www.gerald-dawe.net

Ди́йрдре Ма́дден (1960 г. р.) опубликовала семь романов и две повести для детей. Она получила несколько наград, включая Ирландскую премию Руни, премию Сомерсета Моэма и премию Хеннесси.

См. <http://aosdana.artsouncil.ie/Members/Literature/Madden.aspx>

Абрахам (Брэм) Стокер (1847-1912) – ирландский писатель, автор многих произведений, наибольшей известностью среди которых пользуется готический роман «Дракула» (1897). При жизни он был более известен как антрепренер знаменитого актера Генри Ирвинга и директор-распорядитель лондонского театра «Лицеум».

Патрик Каванах (1904-1967) – крупнейший ирландский поэт прошлого века. По его масштабной поэме «Великий голод» и роману «Тарри Флинн» поставлены театральные спектакли. См. www.tcd.ie/English/patrickkavanagh

Томас Килрой (1934 г. р.) – ведущий ирландский драматург и романист, чьи сочинения были отмечены многими наградами, в том числе литературной премией «Гардиан» в 1971 г. и премией Хайнемана в 1972 г. В конце 1980-х он был директором театра «Филд дэй». В 2004 г., на вручении театральных премий «Айриш-таймс/ЭСБ» он был удостоен премии за особые достижения в области театрального искусства.

См. <http://aosdana.artsouncil.ie/Members/Literature/Kilroy.aspx>

Пол Деркан (1944 г. р.) – один из ведущих ирландских поэтов. Его первый сборник, «Уэстпорт в свете Малой Азии», получил Премию имени Патрика Каванаха в 1975 г. В дальнейшем Пол Деркан получил еще несколько наград, в том числе поэтическую премию Ирландско-американского института культуры, Уитбредовскую премию и премию Лондонского поэтического общества.

См. <http://aosdana.artsouncil.ie/Members/Literature/Durcan.aspx>

Джеральд До (1952 г. р.) – поэт и критик. За свои труды он получил несколько наград, включая литературную стипендию Маколя и международную писательскую премию Ледига-Роволта. Среди его поэтических сборников – «Женевское озеро» и «Пойнтс-Уэст». См. www.gerald-dawe.net

Nell Regan's (b. 1969) collections include *Preparing for Spring and Bound for Home* (in conjunction with the artist Monica Boyle). See www.nellregan.com

Philip McDonagh's (b. 1952) collections include *Carraroe in Saxony* and *The Song the Oriole Sang*. He is currently Irish Ambassador to Russia.

See <http://dedaluspress.com/poets/mcdonagh.html>

Eiléan Ní Chuilleanáin's (b. 1942) first collection won the Patrick Kavanagh Poetry Award in 1973. In 2010 her collection *The Sun-fish* was the winner of the Canadian-based International Griffin Poetry Prize and was shortlisted for the Poetry Now Award.

See <http://aosdana.artscouncil.ie/Members/Literature/Ni-Chuilleanain.aspx>

Pádraic Fiacc's (b. 1924) first collection of poetry, *Woe to the Boy*, won the AE Memorial Prize in 1957. He edited *The Wearing of the Black*, a 1974 anthology about Northern Ireland that provoked significant public debate. In 1981 he received a Poetry Ireland Award.

See <http://aosdana.artscouncil.ie/Members/Literature/Fiacc.aspx>

Peter Sirr's (b. 1960) collections include *Selected Poems* and *Nonetheless*. He was the first Director of the Irish Writers' Centre and has been editor of Poetry Ireland Review (<http://poetryireland.ie/publications/poetry-review.html>). See www.petersirr.com

Aifric Mac Aodha's (b. 1974) first collection, *Gabháil Syrinx (The Capture of Syrinx)* was published in 2010. Her work has appeared in several publications and won many prizes.

See <http://qub.ac.uk/schools/SeamusHeaneyCentreforPoetry/pal/aifricmacaodha/>

Máirtín Ó Direáin (1910-1988), from Inis Mór in the Aran Islands, was among the most influential Irish-language poets of the last century. *Na Dánta — Máirtín Ó Direáin 1910-2010*, features his collected poems.

See <http://aosdana.artscouncil.ie/Members/Literature/O-Direain.aspx>

Нелл Риган (1969 г. р.) – автор, в частности, поэтических сборников «Подготовка к весне» и «Едем домой» (в соавторстве с художницей Моникой Бойл).

См. www.nellregan.com

Филип Макдона (1952 г. р.) – среди его сборников «Карраро в Саксонии» и «Песня, спетая иволгой». В настоящее время он занимает пост ирландского посла в России.

См. <http://dedaluspress.com/poets/mcdonagh.html>

Элейн Ни Хиллинан (1942 г. р.) – ее первый сборник получил премию имени Патрика Каванаха в 1973 г., а в 2010 г. ее сборник «Рыба-солнце» был удостоен международной поэтической премии Гриффина и вошел в шорт-лист премии «Поэзия сегодня». См.

<http://aosdana.artscouncil.ie/Members/Literature/Ni-Chuilleanain.aspx>

Подрик Фиякк (1924 г. р.) – его первый стихотворный сборник, «Горе мальчику», получил Мемориальную премию АЕ в 1957 г. В 1974 г. он стал составителем поэтической антологии о Северной Ирландии «Носим черное», которая вызвала широкую общественную дискуссию. В 1981 г. он получил премию «Поэтическая Ирландия». См. <http://aosdana.artscouncil.ie/Members/Literature/Fiacc.aspx>

Питер Серр (1960 г. р.) – среди прочего, автор сборников «Избранное» и «Тем не менее». Он был первым директором Ирландского писательского центра и редактором обозрения «Поэтическая Ирландия» (<http://poetryireland.ie/publications/poetry-review.html>). См. www.petersirr.com

Афьрик Макэй (1974 г. р.) – ее первый поэтический сборник, «Пленение Сиринги», вышел в свет в 2012 г. Ее сочинения неоднократно появлялись в печати и были удостоены многих наград.

См. <http://qub.ac.uk/schools/SeamusHeaneyCentreforPoetry/pal/aifricmacaodha/>

Мартинь О Дирань (1910-1988) – уроженец острова Иниш мор, входящего в группу островов Аран, один из самых влиятельных ирландскоязычных поэтов двадцатого века. Его избранные произведения составили сборник «Стихи– Мартинь О Дирань, 1910-2010». См. <http://aosdana.artscouncil.ie/Members/Literature/O-Direain.aspx>

Caitriona Ní Chléirchín's (b. 1978) first collection *Crithloinnir (Shimmer)* won first prize in the Oireachtas competition for new writers 2010. Her work has appeared in numerous publications. See www.irishwriters-online.com/ni-chleirchin-caitriona/

Marina Carr (b. 1964) is one of Ireland's leading playwrights. Recent plays include *By the Bog of Cats* (1998), *On Raftery's Hill* (2000), and *Ariel* (2002). Awards include the Macaulay Fellowship, American Ireland Fund, E. M. Foster prize from the American Academy of Arts and Letters and the Susan Smith-Blackburn prize.

See <http://aosdana.artscouncil.ie/Members/Literature/Carr.aspx>

Катриона Ни Хлерхин (1978 г. р.) – ее первый сборник, «*Мерцание*», получил первую премию на конкурсе молодых писателей «*Орахтас*» в 2010 г. Ее стихотворения многократно появлялись в печати.

См. www.irishwriters-online.com/ni-chleirchin-caitriona/

Марина Карр (1964 г. р.) – одна из ведущих ирландских драматургов. Среди ее недавних пьес – «*У Кошкиной топи*» (1998), «*На холме Рафтери*» (2000) и «*Ариэль*» (2002). Ее награды включают в себя стипендию Маколея, грант Американско-ирландского фонда, премию имени Э. М. Форстера от Американской академии искусств и литературы и премию Сьюзен Смит-Блэкберн.

См. <http://aosdana.artscouncil.ie/Members/Literature/Carr.aspx>

TRANSLATORS' BRIEF BIOGRAPHIES

Vladimir Olegovich Babkov (b. 1961), translator from English, teaches literary translation at the Gorky Literary Institute, Moscow. Among the authors he has translated are Aldous Huxley, Thomas Wolfe, Julian Barnes, Peter Ackroyd and Norman Mailer. He was recipient of the award from *Inostrannaya literatura* (1991), as well as the Inolit Award (1995) and the 'Unicorn and Lion' Award (2007).

Viktor Petrovich Golyshev (b. 1937), translator from English, teaches literary translation at the Gorky Literary Institute, Moscow. Among the authors he has translated are Robert Penn Warren, William Faulkner, George Orwell, Ian McEwan and Ernest Hemingway. He was recipient of the awards from *Inostrannaya literatura* (1991, 1993), the Illuminator Award (1997), the Little Booker Prize (2001) and the Liberty Award (2003).

Yuli Feliksovich Gugolev (b. 1964), poet, translator. Among the poets he has translated are Seamus Heaney, Tom Paulin, Tony Hoagland, Alice Fulton and A. E. Stallings. He was awarded the Moscow Count prize in 2007.

Leonid Yulyevich Motylev (b. 1955), translator from English, has translated the novels of William Faulkner, Peter Ackroyd, Philip Roth, Salman Rushdie, Christopher Buckley, Graham Swift, Kazuo Ishiguro and Alasdair Gray, and the Richard Ellman Oscar Wilde biography. He was recipient of the Inolit Award (1999), the 'Unicorn and Lion' Award (2007) and the critics' diploma zoIL (2003-2004).

Alexei Petrovich Prokopyev (b. 1957, pseudonym Alyosha Prokopyev), poet and translator from English (Chaucer, Spenser, Milton, Wilde, Hopkins and others), German (Rilke, Trakl, Benn, Heym and others), Swedish (Tranströmer and others), Italian (Aldo Nove) and Chuvash (ritual folklore). He is the author of three poetry collections and winner of The Andrey Bely Prize (2010).

Vera Vyacheslavovna Prorokova (b. 1959), translator from English, has translated the work of Isaac Bashevis Singer, Cynthia Ozick, Francine Prose, Tom Robbins and Tama Janowitz. She works as editor with Corpus publishing house.

КРАТКИЕ БИОГРАФИИ ПЕРЕВОДЧИКОВ

Владимир Олегович Бабков (род. в 1961) – переводчик с английского, преподаватель художественного перевода в Литературном институте имени А. М. Горького. В его переводах выходили произведения О. Хаксли, Т. Вулфа, Дж. Барнса, П. Акройда, Н. Мейлера и др. Лауреат премий журнала «Иностранная литература» (1991), «Инолит» (1995) и «Единорог и лев» (2007).

Виктор Петрович Гольишев (род. в 1937 г.) – переводчик с английского, преподаватель художественного перевода в Литературном институте им. А. М. Горького. Переводил прозу Р. П. Уоррена, У. Фолкнера, Дж. Оруэлла, И. Макьюэна, Э. Хемингуэя и др. Лауреат премий журнала «Иностранная литература» (1990, 1993), «Иллюминатор» (1997), «Малый Букер» (2001) и «Либерти» (2003).

Юлий Феликсович Гуголев (род. в 1964 г.) – поэт, переводчик. В его переводе выходили, в частности, стихи Ш. Хини, Т. Полина, Т. Хогланда, Э. Фултон, А.Э. Сталлингс. Лауреат премии «Московский счёт» (2007).

Леонид Юльевич Мотылев (род. в 1955 г.) – переводчик англоязычной прозы. В его переводе выходили, в частности, романы У. Фолкнера, П. Акройда, Ф. Рота, С. Рушди, К. Бакли, Г. Свифта, К. Исигуро, А. Грея, биографическая книга Р. Элмана «Оскар Уайльд». Лауреат премий «Инолит» (1999), «Единорог и лев» (2007), диплома критики «зоИЛ» (2003-2004).

Алексей Петрович Прокопьев (род. в 1957 г., псевдоним Алёша Прокопьев) – поэт и переводчик, переводы с английского (Чосер, Спенсер, Милтон, Уайлд, Дж. М. Хопкинс и др.), немецкого (Рильке, Трахль, Бенн, Гейм и др.), шведского (Транстрёмер и др.), итальянского (Альдо Нове), чувашского (обрядовый фольклор). Автор трёх книг стихов. Лауреат премии Андрея Белого (2010).

Вера Вячеславовна Пророкова (род. в 1959 г.) – переводчик с английского. В ее переводе выходили произведения И. Б. Зингера, С. Озик, Ф. Проуз, Т. Роббинса, Т. Яновиц. Работает редактором в издательстве Corpus.

ACKNOWLEDGEMENTS

The extract from *The Gathering* by Anne Enright: Copyright © Anne Enright 2007, is reproduced by permission of the author c/o Rogers, Coleridge & White Ltd., 20 Powis Mews, London W1 1JN, UK.

The extract from *The Speckled People* by Hugo Hamilton: Copyright © Hugo Hamilton 2003, is reproduced by permission of the author c/o Rogers, Coleridge & White Ltd., 20 Powis Mews, London W1 1JN, UK.

The extract from *Let the Great World Spin* is published by kind permission of the author. Copyright © 2009 Colum McCann.

The Parting Gift © Claire Keegan, 2007, is reproduced by kind permission of the author and with permission of Curtis Brown Group Ltd.

Atlantic City, from *There are Little Kingdoms*, was published by The Stinging Fly Press in 2007. Permission granted by the author, Kevin Barry, c/o Lucy Luck Associates, 18-21 Cavaye Place, London SW 10 9PT.

The extract from *Snakes' Elbows* is published by kind permission of A P Watt Ltd on behalf of Deirdre Madden.

The opening canto of Patrick Kavanagh's *The Great Hunger* is reprinted from *Collected Poems* (Allen Lane, 2004), edited by Antoinette Quinn, by kind permission of the Trustees of Estate of the late Katherine B. Kavanagh, through the Jonathan Williams Literary Agency.

The Fifties: A Memoir © is published by kind permission of the author Thomas Kilroy and Curtis Brown Group Ltd.

Diarrhoea Attack at Party Headquarters in Leningrad, from *Life Is A Dream — 40 Years Reading Poems 1967-2007* (Harvill Secker, 2009), is published by kind permission of the author, Paul Durcan.

Crossing the Sound is published by kind permission of the author, Gerald Dawe.

Water to Water, Salt to Salt is published by kind permission of the author, Nell Regan, and Arlen House publishers.

Women at the Well is published by kind permission of the author, Philip McDonagh, and Dedalus Press www.dedaluspress.com

The Burden of Cloth is published by kind permission of the author, Eiléan Ní Chuilleanáin, and The Gallery Press www.gallerypress.com

Enemies is published by kind permission of the author, Pádraic Fiacc.

The extract from Peter Sirr's *Carmina*, from *The Thing Is* (2009), is published by kind permission of the author and The Gallery Press www.gallerypress.com

Leithscéal is published by kind permission of the author, Aifric Mac Aodha, and appeared in her first collection *Gabháil Syrinx (The Capture of Syrinx)* (An Sagart, 2010).

Coinnle ar Lasadh by Máirtín Ó Direáin, from *Máirtín Ó Direáin, Na Dánta*, An Clóchomhar, Cló Iar Chonnachta, 2010, is published by kind permission of the publishers.

Capall Bán is published by kind permission of the author, Caitríona Ní Chléirchín.

The extract from *By the Bog of Cats* is published by kind permission of the author, Marina Carr, and The Gallery Press www.gallerypress.com

БИБЛИОГРАФИЯ И АВТОРСКИЕ ПРАВА

Фрагмент романа Энн Энрайт «В кругу семьи»: © Anne Enright 2007, печатается с разрешения автора, полученного через Rogers, Coleridge & White Ltd., 20 Powis Mews, London W1 1JN, UK; перевод © В. Прокурова, 2012.

Фрагмент романа Хьюго Хэмилтона «Пегие люди»: © Hugo Hamilton 2003, печатается с разрешения автора, полученного через Rogers, Coleridge & White Ltd., 20 Powis Mews, London W1 1JN, UK; перевод © В. Голышев, 2012.

Фрагмент романа Колума Макканна «Пусть вертится огромный мир»: © 2009 by Colum McCann, публикуется с разрешения автора; перевод © В. Бабков, 2012.

«Прощальный подарок» Клер Киган: © Claire Keegan 2007, воспроизводится с разрешения автора и Curtis Brown Group Ltd.; перевод © Л. Мотылев, 2012.

«Атлантик-сити» из сборника «Есть маленькие царства» был опубликован издательством The Stinging Fly Press в 2007 г. Разрешение на повторную публикацию получено от автора, Кевина Барри, через Lucy Luck Associates, 18-21 Savaye Place, London SW 10 9PT; перевод © В. Бабков, 2012.

Фрагмент из повести «Ежкины уши» публикуется с разрешения, данного A P Watt Ltd от имени Дейдрэ Мадден; перевод © В. Голышев, 2012.

Фрагмент из романа «Дракула» Брэма Стокера: перевод © В. Бабков, 2012.

Первые строфы поэмы Патрика Каванаха «Великий голод» перепечатаны из сборника «Избранные произведения (составитель Антуанетта Куинн)» (Allen Lane, 2004) с разрешения представителей Фонда наследственного имущества Кэтрин Каванах, полученного через Jonathan Williams Literary Agency; перевод © Ю. Гуголев, 2012.

Отрывок из «Записок о пятидесятих» © печатается с разрешения автора, Томаса Килроя, и Curtis Brown Group Ltd.; перевод © Л. Мотылев, 2012.

«Приступ поноса во время заседания Ленинградского обкома» из сборника «Жизнь – это сон. 40 лет чтения стихов, 1967-2007» (Harvill Secker, 2009) печатается с разрешения автора, Пола Деркана; перевод © А. Прокопьев, 2012.

«Дорога на остров» публикуется с разрешения автора, Джеральда До; перевод © А. Прокопьев, 2012.

«Соль к соли, вода к воде» публикуется с разрешения автора, Нелл Риган, и издательства Arlen House; перевод © А. Прокопьев, 2012.

«Женщины у источника» публикуется с разрешения автора, Филипа Макдонны, и Dedalus Press www.dedaluspress.com; перевод © А. Прокопьев, 2012.

«Груда тканей» публикуется с разрешения автора, Элейн Ни Хиллинан, и The Gallery Press www.gallerypress.com; перевод © А. Прокопьев, 2012.

«Враги» публикуется с разрешения автора, Подрика Фиякка; перевод © А. Прокопьев, 2012.

«Из Катуллы», из сборника «Вещь» (2009), публикуется с разрешения автора и The Gallery Press www.gallerypress.com; перевод © А. Прокопьев, 2012.

«Оправдание» публикуется с разрешения автора, Эйфрик Макэй; стихотворение вошло в ее первый сборник «Пленение Сиринги» (Gabháil Syrinx) (An Sagart, 2010); перевод © А. Прокопьев, 2012.

«Свечи», из сборника «Мартинь О Дирань, Стихи» (An Clóchomhar, Cló Iar-Chonnachta, 2010), публикуется с разрешением издательства; перевод © Ю. Гуголев, 2012.

«На белой кобыле» публикуется с разрешения автора, Катрионы Ни Хлерхин; перевод © А. Прокопьев, 2012.

Отрывок из пьесы «У Кошкиной топи» публикуется с разрешения автора, Марины Карр, и The Gallery Press www.gallerypress.com; перевод © В. Голышев, 2012.

SOME USEFUL WEBSITES

www.irlandskayaliteratura.org

The website of this journal, Ирландская литература/ Irish Literature in Russian Translation is a collaborative initiative between the Centre for Literary Translation, Trinity College, Dublin, and the Gorky Literary Institute, Moscow, in association with Ireland Literature Exchange

www.tcd.ie/langs-lits-cultures/postgraduate/literary_translation

Literary Translation, a one-year Master's Programme in Literary Translation at Trinity College, Dublin.

www.litinstitut.ru

The Gorky Literary Institute, Moscow/ Литературный институт имени А.М. Горького.

www.irelandliterature.com

Ireland Literature Exchange (ILE)/ Idirmhálartán Litríocht Éireann promotes Irish literature, in English and Irish, abroad.

www.writerscentre.ie

Irish Writers' Centre/ Áras na Scríbhneoirí supports and promotes writing and writers throughout Ireland. It advertises literary events.

www.poetryireland.ie

Poetry Ireland/ Éigse Éireann supports and promotes poetry throughout Ireland. It advertises literary events.

www.cultureireland.gov.ie

Culture Ireland/ Cultúr Éireann creates and supports opportunities for Irish artists to present their work internationally. It advertises cultural events.

www.gaeilge.ie

A comprehensive website with links to Irish-language organisations. Includes an events guide.

www.dublincityofliterature.ie

Dublin, the capital of Ireland, is the fourth UNESCO City of Literature. This site contains much information on literary Dublin, including an events guide.

www.qub.ac.uk/schools/SeamusHeaneyCentreforPoetry
Queen's University Belfast, The Seamus Heaney Centre for Poetry has an events calendar and an audio library.

www.heritageireland.ie

Heritage Ireland is a comprehensive website on Ireland's heritage.

www.aosdana.artscouncil.ie

Aosdána is an Irish association of artists, including writers, founded by the Arts Council.

www.artscouncil.ie

The Arts Council/ An Chomhairle Ealaíon is Ireland's national agency for funding, developing and promoting the arts in Ireland.

www.irishwriters-online.com

Irish Writers Online is a bibliographical database of almost 600 Irish writers, and related resources.

www.nli.ie

National Library of Ireland/ Leabharlann Náisiúnta na hÉireann contains details about services, collections, catalogues and databases, the digital library, and a list of current events.

www.childrenslaureate.ie

Children's Laureate/ Laureate na nÓg is a project that promotes children's literature. The current laureate is Siobhán Parkinson.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВЕБ-САЙТЫ

www.irlandskayaliteratura.org

Сайт нашего журнала, «Ирландская литература в русских переводах», созданный Центром литературного перевода дублинского Тринити-колледжа и Литературным институтом имени А. М. Горького в сотрудничестве с агентством «Ирландская литературная биржа»

www.tcd.ie/langs-lits-cultures/postgraduate/literary_translation

Литературный перевод, годичный магистерский курс в Центре литературного перевода дублинского Тринити-колледжа.

www.litinstitut.ru

Московский Литературный институт имени А. М. Горького.

www.irelandliterature.com

Агентство «Ирландская литературная биржа», содействующее распространению ирландской литературы (на английском и ирландском языках) за рубежом.

www.writerscentre.ie

Ирландский писательский центр, поддерживающий писателей и их творчество на всей территории Ирландии. Здесь размещаются объявления о планируемых литературных мероприятиях.

www.poetryireland.ie

«Поэтическая Ирландия» поддерживает поэтическое творчество на всей территории Ирландии. Здесь также можно найти сообщения о литературных мероприятиях.

www.cultureireland.gov.ie

«Культура Ирландии» помогает ирландским деятелям культуры представлять свои работы за рубежом. Здесь публикуются сообщения о культурных мероприятиях.

www.gaeilge.ie

Полезный сайт со ссылками на ирландскоязычные организации и списком объявлений.

www.dublincityofliterature.ie

Дублин, столица Ирландии, объявлен ЮНЕСКО четвертым «Городом литературы». На этом сайте содержится много информации о литературном Дублине, включая объявления о планируемых мероприятиях.

www.qub.ac.uk/schools/SeamusHeaneyCentreforPoetry

Сайт Поэтического центра Шеймаса Хини в Королевском университете Белфаста с расписанием мероприятий и аудиобиблиотекой.

www.heritageireland.ie

Обширный сайт, посвященный ирландскому культурному наследию.

www.aosdana.artscouncil.ie

Сайт ирландской ассоциации творческих работников, включая писателей, основанный Советом по культуре и искусству.

www.artscouncil.ie

Совет по культуре и искусству – государственная ирландская организация, финансирующая, развивающая и поддерживающая творческую деятельность в Ирландии.

www.irishwriters-online.com

Библиографическая база данных, включающая в себя сведения о почти 600 ирландских писателях и дополнительные ресурсы.

www.nli.ie

Сайт Национальной библиотеки Ирландии, где можно найти сведения об услугах и коллекциях, подробные каталоги и базы данных, цифровую библиотеку и перечень текущих событий.

www.childrenslaureate.ie

«Детский лауреат» – проект поддержки детской литературы. В настоящее время звание лауреата носит Шивон Паркинсон.

Printed by Dotprint

Paper stock *UPM fine* 120g/m² and 300g/m²

Typeset in *Minion Pro* and *Helvetica Neue*

Отпечатано в Dotprint

Бумага *UPM fine* 120g/m² и 300g/m²

Шрифты *Minion Pro* и *Helvetica Neue*

Ирландская литература/Irish Literature in Russian Translation/Litríocht na hÉireann aistrithe go Rúisis is a collaborative initiative between the School of Languages, Literatures and Cultural Studies, Trinity College Dublin and the Gorky Literary Institute, Moscow, with support from Ireland Literature Exchange.

Журнал «Ирландская литература» выпускается Отделением языковедения, литературоведения и культурологии Дублинского Тринити-колледжа и Московским литературным институтом им. А.М. Горького при поддержке Ирландской литературной биржи.

www.irlandskayaliteratura.org



TRINITY COLLEGE DUBLIN

COLAISTE NA TRIONOIDE, BAILE ÁTHA CLIATH

THE UNIVERSITY OF DUBLIN



Ireland Literature Exchange
Idirmhalartán Litríocht Éireann

ISSN (Print) 2009-4477

ISSN (Online) 2009-4485

ISBN 978-1-871-40882-9



9 781871 408829